

A man in a dark military uniform and a flat cap stands with his back to the camera, looking out over a town. The town is built on a hillside, with a large, tall church spire as the central landmark. The ground is covered in fallen autumn leaves, and the trees have orange and yellow foliage. The sky is overcast.

Алексей Хромов

Сталь и Полынь

Алексей Хромов

Сталь и полынь

«Автор»

2026

Хромов А.

Сталь и полынь / А. Хромов — «Автор», 2026

1926 год. Галиция. Город Златополь на границе двух миров — и на пороге великой беды. Сюда, в промозглый осенний город, возвращается старый русский офицер Евгений Полковниченко. Он потерял родину, семью, веру в будущее — но ещё способен видеть зло. А зло приходит под видом новых, ослепительных идей: «нация превыше всего», «кровь — это святое», «убей врага — и станешь героем». В подвалах и читальнях молодёжь слушает пророков, обещающих им величие и власть. Они верят, что ненависть — добродетель, а насилие — творчество. Им невдомёк, что эта вера куплена в чужих кабинетах. Что их будущая кровь нужна лишь для того, чтобы разжечь чужой пожар. Что идея «незалежности» — оружие, которое направляют против них же самих. «Сталь и полынь» — роман-предостережение о том, как рождается террор на обломках надежд. О том, как слово превращается в нож, а любовь — в ненависть. И о тех, кто выбирает оставаться человеком, даже когда весь мир вокруг сошёл с ума. Земля всё примет. Но урожай сам себе судья.

© Хромов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ОТ АВТОРА И ИЗДАТЕЛЬСТВА	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРИЕХАЛ	7
ГЛАВА 2. ОПЕРАЦИЯ «WERMUT»	19
ГЛАВА 3. АДЛОН	25
ГЛАВА 4. ДОСЬЕ «ЭМИГРАНТЫ»	37
Глава 5. Кабинет коменданта	47
ГЛАВА 6. РЫНОК	57
Глава 7. Корчма Янкеля	62
Глава 8. «Просвита»	71
Глава 9. Келья Алхимика.	81
Глава 10. Первые деньги.	93
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Сталь и полынь

ОТ АВТОРА И ИЗДАТЕЛЬСТВА

Роман «Сталь и полынь» является художественным произведением, созданным в жанре историко-политической прозы. Все события, персонажи и диалоги являются плодом авторского воображения, основанным на исторических фактах и документальных материалах.

В тексте романа упоминаются следующие организации, лица, а также символика и лозунги, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и решениями Верховного Суда Российской Федерации:

Организации: Украинская войсковая организация (УВО), Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА)* — признаны экстремистскими, их деятельность запрещена;

Лица: Евгений Коновалец, Дмитро Донцов (в романе — Олесь Крук), а также Степан Бандера и другие идеологи и руководители указанных организаций;

Лозунги и символика: лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!», «Слава Нації!»*, а также другая атрибутика ОУН/УПА признаны экстремистскими и запрещены к публичному использованию.

Все упоминания указанных организаций, лиц, лозунгов и символики в романе не являются пропагандой, не преследуют цели их реабилитации или оправдания и приводятся исключительно в историческом и художественном контексте. Цель романа — разоблачение преступной сущности украинского националистического движения, его идеологии, методов вербовки и террористической практики.

Автор и издательство осуждают любые формы экстремизма, нацизма, терроризма и разжигания межнациональной розни. Роман «Сталь и полынь» представляет собой предостережение об опасности идеологий, построенных на ненависти, лжи и насилии.

* Организации (УВО, ОУН, УПА) и их символика (включая лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!») признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ. Упоминание в художественном произведении не является пропагандой.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга — о том, как рождается безумие. Не то безумие, что поражает одного человека, а то, что овладевает целыми народами, рядится в одежды героизма и ведёт людей на бойню, убеждая их, что убивать — свято.

Действие романа происходит в конце двадцатых годов прошлого века в Восточной Галиции — на земле, которая веками была ареной борьбы империй и где впервые были посеяны семена идеологии, давшей позже всходы, окрасившие кровью поля Волыни и улицы европейских городов. Это время, когда на руинах Австро-Венгрии и Российской империи, в тиши пражских мансард и берлинских кабинетов, вызревал новый вид политического человека — фанатик, убеждённый, что ненависть есть высшая добродетель, а насилие — инструмент очищения нации.

Герои романа — вымышленные, но их судьбы сплетены с реальными историческими лицами и событиями. В книге действуют идеологи украинского интегрального национализма, руководители подпольных организаций, агенты иностранных разведок — те, кто впоследствии станет творцами террористической сети, известной как Организация украинских националистов. Читатель увидит, как ловко, шаг за шагом, в сознание молодых людей вдалбливается мысль о «праве сильного», как убивают в них совесть и любовь, превращая в безотказное оружие чужой воли.

Роман «Сталь и полынь» — это не историческое исследование и не политический памфлет. Это художественное предостережение. Оно о том, как легко человек, униженный и обманутый, становится палачом. О том, как за красивыми словами о «нации» и «свободе» всегда стоит холодный цинизм тех, кто этими словами торгует. И о том, что цена такой «свободы» — кровь, которая не смывается веками.

Все описанные в книге организации (УВО, ОУН), их идеологи (Донцов, Коновалец и другие) и используемая ими символика (включая лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!») признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации. Их упоминание в романе не является пропагандой, а служит единственной цели: показать их подлинную, преступную сущность. Автор и издательство решительно осуждают любые формы нацизма, террора и разжигания межнациональной розни.

Эта книга — о том, как строится стена между братьями, и о том, как трудно, но необходимо её рушить. О том, что даже в самые тёмные времена есть люди, которые не предают. И о том, что полынь, какой бы горькой она ни была, — всего лишь трава, а вот ненависть, возведённая в культ, — это яд, от которого нет противоядия, кроме правды.

«Земля всё примет — и семя, и навоз, и плевков. Только урожай сам себе судья».

Пусть этот роман станет напоминанием: история не прощает тех, кто не хочет её помнить.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРИЕХАЛ

Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Откровение Иоанна Богослова, 8:10—11

ТАМБУР

Паровоз выдохнул из прокопчённого, адским жаром пышущего нутра последний мутно-жёлтый клуб пара и осел на рельсы всей многотонной тяжестью — с тем долгим, надсадным, душу выворачивающим хрипом, с каким валится в раскисшую борозду загнанная насмерть лошадь, ещё живая, но уже знающая звериным чутьём, что борозда эта — последняя.

Пар, смешавшись с низкой свинцовой облачностью и моросью, окутал перрон серой пеленой. Сквозь неё цедился кислой сухменью воздух.

И тотчас — удар.

Тяжко, с тупым пушечным гулом, от которого содрогнулась земля, лязгнуло железо: буфера вагонов — деревянных серых коробов на колёсах — столкнулись, передавая инерцию от одного к другому по цепочке. Эхо ударилось о стены вокзала, отползло ослабевшим.

Этот металлический звук не прошёл мимо единственного человека, стоявшего в дверном проёме тамбура, — он прошёл сквозь него. Пронзил, как ржавый штык пронзает шинельное сукно, прошёл сквозь худые рёбра и замер тупой сосущей пустотой под ложечкой — там, где с далёкой уже, забытой миром и проклятой Богом германской войны жила, затаившись, старая контузия, ворочавшаяся при каждой гнилой перемене погоды.

Тело Полковниченко дёрнулось — всем корпусом, как дёргается повешенный, когда табурет выбивают из-под ног. Правая ладонь вцепилась в шершавый от ржавчины дверной косяк. Левая, державшая саквояж, разжалась сама — ручка глухо стукнула о скользкий настил.

И в глазах — вспышкой, на одну секунду, ярче реальности:

Лошадиная голова в чёрной воде . Белок залит кровью . Копыта бьют по маслянистой , нефтяной волне . Шея тянется к борту баржи . Рот раскрыт — оттуда хрип , булькающий , захлёбывающийся .

Оборвалось.

Вместо чёрной воды — сырые доски тамбура. Вместо хрипа — стук колёс товарняка на соседних путях. С крыши вагона мерно падала капля — тук, тук, тук — в жестяной желобок.

Полковниченко стоял, вцепившись в косяк, и дышал ртом, рвано, короткими толчками. Лёгкие не слушались — пришлось заставлять их силой, толкая воздух внутрь, как толкают застрявшую в хляби телегу. Лоб был ледяным, влажным. Рубашка под шинелью промокла насквозь — липкая, прикисла к рёбрам.

Сердце частило — бешено, рвано. Положил ладонь на грудь, поверх шинели, надавил, пытаясь утишить мечущийся в панике мотор.

Знал эти приступы. Знал, что приходят без предупреждения — удар буферов, скрежет железа, хлопок дверью — и прошлое прорывается наружу, пожирает настоящее. Научился справляться — дышать, считать, возвращать себя по частям. Но за каждым приступом оставалось что-то невозвращённое. Крохотный кусок воли, осколок рассудка — отщипнутый и не отданный назад. Червоточина, от которой не заживает.

Раз. Два. Три.

Воздух — холодный, сырой, пахнущий углём и прелой листвой. Не йод. Не мазут. Не палёное мясо. Значит — не там.

Рука держит железо. Под ногами — доски. Не качаются.

Открыл глаза. Моргнул. Перрон. Люди с узлами. Газовые фонари в пару. Галиция. Двадцать шестой год.

Не Севастополь. Не двадцатый.

Здесь.

Но та лошадиная голова — осталась. Стояла перед глазами, выжженная на сетчатке, как тавро на живом. Кровавый белок. Раскрытый рот. Копыта по воде. Он знал, что за ней — целое, огромное, непроглядное. Что это только край бездны, в которую он не упал сегодня, но в которую падает каждый раз, когда лязгает железо.

Выдохнул — длинно, шумно, изгоняюще.

Левая рука машинально потянулась к шее — поправить воротничок. Воротничка не было: лежал в саквояже, чистый, накрахмаленный, ждал. Пальцы тронули голую кожу и опустились.

Отпустил косяк. Кисть одеревенела — пришлось разгибать палец за пальцем. В суставах скрежетнуло. На ладони остались красные борозды — следы ржавчины. Вытер о полу шинели. На пальцах — тёплый запах дёгтя и окалины.

Наклонился. Подхватил саквояж. Тяжесть обрушилась на плечо, отозвалась тянущей болью под лопаткой — там, где сидела невынутая свинцовая дробинка. Кожаная ручка была отволгллой, потрескавшейся. Стиснул покрепче.

Выпрямился. Перенёс вес с носка на пятку. Земля под ногами — твёрдая.

Приехал.

Но сквозь промозглую сырость в ноздри ударила тонкая, еле уловимая струйка — прошла сквозь вонь угля и пота, как шило сквозь рядно.

Полынь.

Горькая, степная. Ветер принёс её дух с заросших бурьяном пустырей за станцией. Горечь легла на язык, стянула нёбо — вяжущая, стылая.

Полынь. Трава забвения. Трава горечи.

И — тепло. Откуда-то из-под рёбер, неожиданное, садное.

Златополь. Лето. Мальчишкой. Липовая аллея. Пыль на дороге. Запах акации. Полынь — росла у заборов, на пустырях. Он бегал босиком по раскалённой пыли, рвал горькие листья с дворовыми мальчишками, жевал, плевался — кто дольше вытерпит. Счастливый. Не знавший ещё.

Тепло оборвалось — резко, как от оскользи на мёрзлом камне. Холод разлился под ложечкой.

Ему было десять, когда впервые приехал сюда, к дяде. Двадцать четыре — когда уезжал служить Царю. Пятьдесят — когда вернулся. Вся жизнь — в промежутке между запахами полыни.

Зачем вернулся?

Париж был безопаснее. Белград — теплее. Берлин — богаче. Но он вернулся сюда, в Златополь.

Збруч — не двадцать вёрст отсюда. Прямо за вокзалом, за домами, за пустырями. Можно дойти пешком за полчаса. Встать на берегу. Поглядеть на ту сторону.

Россия.

Не та, что была. Не Империя. Советия. Красные. Не страна — машина. Но русская. Язык. Земля. Народ.

И временами, в минуты слабости, когда контузия отпускала и рассудок прояснялся до острой, режущей трезвости, — лезла мысль: может, не всё кончено? Может, Россия не умерла, а только больна — горячкой, лихорадкой, но ведь бывает — больной встаёт?

Нельзя так думать. Россия умерла в семнадцатом. Похоронена в двадцатом, в Севастопольской бухте. Воскресить погребённое нельзя.

Но он не приехал сюда воскрешать.

Приехал, потому что здесь — ближе. Чем Париж. Чем Белград. Здесь виден Збруч. Здесь слышно, как за рекой гудят паровозы. Здесь говорят по-русски. И здесь ещё есть свои — русины, галичане, те, кого ещё не доломали, кто ещё помнит. Может быть, он найдёт их. Соберёт. Может быть, ещё можно что-то сделать — он не знал, что именно, но само это «может быть» держало его на ногах крепче любой присяги.

Евгений Петрович перехватил саквояж поудобнее. Оправил шинель. Распрямил спину. И сделал шаг.

Тяжёлый сапог, подбитый железом, ткнулся в заполированный миллионом подошв камень перрона.

Глухо.

Перрон не принял его — встретил равнодушно, бурлящим месивом, где любого перемазывало дотла.

Каменные плиты заплёваны, залиты мутной жижей, нанесённой с улиц. Воздух стоял плотный, спрессованный телами — холод въедался в кости сквозь сукно. Разило: сернистым углём, от которого першило в горле, густым дёгтем тележных колёс, потом немых тел и кислой застоявшейся мочой от пристанционного нужника.

Гул стоял сплошной — тысячи голосов, слившихся в монотонный рёв улья. Из гула, как щепки из мутного потока, всплывали обрывки:

— ...biletu! Biletu do Lwowa!.. — ...та де ж я тобі, куме... — ...drei Gulden, drei, nicht mehr!.. — ...Господи, помилуй... — ...мама! Ма-а-ама!..

Польский, украинский, идиш, немецкий, русский — языки кипели в одном котле, шипя, плюясь, не сливаясь. Ослизлый, вонючий людской кипень — без лада, без голоса, без лица.

Евгений Петрович двинулся в толчею, стиснув рукоять саквояжа. Народ густился вокруг, обтекал его, не глядя в лицо. Толкались зло, остервенело, не прося прощения. Волокли по заплёванным плитам раздутые узлы, набитые спасённым скарбом — перинами, кастрюлями, иконами, детским бельём. В этом кишении не было ни радости, ни деловитости — только жуть, глухая, нутряная, скотская.

Прямо перед ним баба, повязанная по самые брови тёмным платком, тянула волоком неподъёмный мешок. Лицо багровое, жилы на шее верёвками. Причитала по-малороссийски — не со злостью, а с той вековой крестьянской немочью, от которой не бывает лекарства.

Чуть поодаль семенил старый еврей в лапсердаке, согнутый в три погибели под плетёной корзиной с живой птицей. Куры клохтали, роняли мелкий пух. Старик шаркал беззвучно, глядя в землю, втянув голову в плечи — весь его облик молил: не видьте меня.

У стены вокзала, под свежей афишей с польским орлом, притулились трое парубков. Кепки надвинуты на глаза. Руки в карманах. Курили вонючий самосад, сплёвывая шелуху от семечек под ноги.

Высокий, жилистый, с красным лицом, оскалил щербатый рот и загоготал — резко, лающе. Ткнул грязным пальцем в сторону то ли бабы с мешком, то ли старика:

— Патш, Янек! Яка калымага!

Смех подребезжал, как жестянка на ветру. Не молодой задор — тёмная повадка хама, который понял, что старого закона больше нет, а кулак теперь ему и вера, и устав.

Взгляд — тренированный искать аномалии в хаосе — зацепился за другое.

У основания облупленного фонарного столба, в затхлой луже, сидел человек.

Среди кипящего, снующего людского месива он был пустым местом — выгоревшим дотла. Толпа шла мимо, как мимо придорожного креста, на который уже никто не крестится.

Ребёнок, ведомый матерью за руку, ткнул в его сторону пальцем — мать дёрнула, прижала руку к себе, ускорила шаг, не оглядываясь.

Полковниченко остановился.

Совсем молодой парень, лет двадцати пяти. Должен бы девок любить, землю пахать. На нём висела шинель — мышинового австрийского казённого кроя. Серо-сизая сукнина вытерта до дыр, сквозь неё просвечивало немытое тело. Тянуло от него тяжело: застарелым потом, лихорадкой и тем сладковатым, приторным тленом, который начинает источать живое тело, когда оно уже решило умирать.

Страшным был рукав. Левый. Пуст. Болтающийся на ветру обрубок ткани, заколотый у плеча ржавой булавкой.

Лицо инвалида — известкового цвета. Щёки ввалились, обросли клочками свалывшейся щетины. Глаза, глубоко запавшие, обведённые чернильными кругами, были открыты, но смотрели не на прохожих — мутные, разжиженные, они проходили сквозь людей, сквозь вокзал, сквозь время. Рот полуоткрыт — бессмысленно, по-детски жалко, — и в уголке посиневших губ дрожала ниточка слюны, которую он не утирал. Уцелевшая рука лежала на колене ладонью вверх — раскрытая, как у спящего.

Перед ним на заплёванной земле лежала фуражка с поломанным козырьком. На дне — несколько медных грошей.

Солдат не просил. Не тянул руку. Не выл. Просто сидел.

Полковниченко смотрел на него и не мог оторваться. Не потому что жалел — потому что узнавал. Не человека — печать. Вот что война отрыгнула: обглоданного, как кость, брошенную собаке. Этот мальчик не читал книг про закаты цивилизаций. Просто пошёл, когда призвали. Машина взяла руку, отхватила, как серп колос, и выблевала обратно — ненужного, порожнего.

Я мог быть на его месте . Осколок в колене — чуть выше , и всё .

И тут же — злоба. Не на войну. На себя. На свою жалость — неуместную, бесплодную, ни к чёрту не годную. Жалость, от которой ему, калеке, ни корки хлеба.

Рука сама полезла в карман. Пальцы нащупали тёплые монеты — медяки, нагретые теплом тела. Те, что берёт на хлеб.

Сделал шаг. Наклонился низко. Спина отозвалась болью — старой, с Дона, садной. Стараясь не звякнуть, не оскорбить тишину чужого страдания, опустил монеты в фуражку.

Солдат не моргнул. Ни один мускул не дрогнул на сером лице.

Десяток шагов — и толпа впереди качнулась, расступаясь перед кем-то бегущим.

Мимо него, грубо задев плечо, пронеслась женщина.

Низко, до земли сгибая корпус, укрывая собой самое ценное. К впалой, костлявой груди обеими руками прижимала обмякший серый свёрток.

Младенец.

Из тряпичного кокона наружу выглядывало крохотное личико — багово-красное, сморщенное. И звук — не плач. Писк. Тонкий, жалобно-ровный, на одной ноте. Так пищат слепые котята, выброшенные в мешке на мороз.

Лицо матери он успел разглядеть. Молодая, может, и двадцати нет. Жёлтая пергаментная кожа, тёмные ямы под глазами, губы искусаны в лохмотья. Летела сквозь толпу — как сука, у которой отбирают последнего щенка, — не зная куда, только прочь.

Споткнулась. Нога подвернулась с глухим скрипом. Полковниченко рванулся — руки вымахнули поймать, удержать, — саквояж стукнул о камень.

Устояла. Прижала свёрток так, что, казалось, раздавит рёбрами. Всклипнула. И снова побежала — хромая, петляя, прочь.

Пропала. Растворилась в толпе, как капля крови в мутной воде.

Впереди — арка. За аркой — сырая улица. Над аркой, на карнизе, сидела ворона — смоляная, неподвижная, как чугунное навершие.

Писк шёл следом.

У самых дверей вокзала Полковниченко поднял глаза на фасад.

Там, высоко над входом, под лепным карнизом, где память рисовала родные буквы кириллицы — «Златополь», — висела иная правда.

Жестяная казённая табличка. Новенькая. Синяя эмаль, по которой били белые, острые литеры:

ZŁOTOPOL

Буквы латинские. Угловатые, с хищными засечками. L перечёркнута косой чертой — как шрам на лице.

Полковниченко замер.

Люди толкали его, ругались, пробивались к выходу. Он не двигался.

Смотрел на это слово, и не рассудком — рассудок давно знал, чья тут нынче власть, — а нутром, каждым нервом: это тавро. Так новый хозяин выжигает калёным железом клеймо на шкуре захваченного скота.

Опустил взгляд. С усилием — как отрывают присохшую к ране повязку.

Шагнул вперёд.

И в подтверждение — пространство вокзала разорвал звон.

Серебряный. Весёлый. Самоуверенный.

Шпоры.

Толпа перед выходом расступилась — почтительно, боязливо, волной.

Мимо Полковниченко, чеканя шаг, прошли двое жандармов. Мундиры тёмно-синего сукна с серебряными петлицами, новехонькие. Конфедератки надвинуты лихо. На боках — увесистые «Наганы» в кобурах. Сапоги — не казённая кирза, а шевро, начищенная до зеркального блеска, наплевавшая на всеобщую слякоть.

Шли широко, занимая собой весь тротуар, вытесняя людей в лужи. От них волной накатил запах — дорогой турецкий табак, свежая кожа, оружейная смазка и сладковатый дешёвый одеколон, резавший ноздри.

Один из них, с напوماженными усиками, скользнул взглядом по фигуре старого русского офицера.

Сквозь.

Как сквозь пустое место. Как сквозь воздух.

Не удостоил ни интересом, ни даже презрением.

Второй, грузный, с мясистым лицом, на ходу харкнул — плевок шлёпнулся с влажным хлопаньем на плиты. Поморщился:

— Zimno, psiakrew...

Прошли. Шпоры удалялись — дзынь, дзынь, дзынь — весёлым серебряным колокольчиком.

Полковниченко глядел им в широкие, обтянутые сукном спины. Искал в себе ярость. Искал ненависть. Ничего не было.

У самой решётчатой калитки, ведущей в город, увидел мужика.

Крестьянин. Старый овчинный кожух, рванный на рукавах. Лицо дублёное, борода всклокочена.

Жандармы прошли к калитке впереди — шпоры ещё звенели, удаляясь по ту сторону. И мужик, завидев синие мундиры, не отступил.

Шарахнулся.

Отпрыгнул в жидкую топь — ноги утонули по щиколотку, жижка чавкнула, засосала. В тот же миг сорвал с головы драную шапку, комкая её в узловатых, тёмных от работы руках, и согнулся — в три погибели, в раболепном, нечеловечьем поклоне, носом к коленям.

Жандармы уже прошли. Даже не взглянули.

Для них он — воздух. Как и Полковниченко. Одинаково.

Мужик выпрямился. Медленно. Нахлобучил шапку. Полез из хляби, хлюпая. Глаза — водянистые, телячьи — мигнули раз, другой, ни на кого не глядя. Не злость в них была. Не стыд.

Ничего.

Кровь отхлынула от лица Полковниченко — разом, рывком. Он почувствовал это физически: холод растёкся по щекам, по вискам. Кожу стянуло. Губы онемели.

Вот это .

Не поражение в битвах. Не смена вывесок. Вот это — когда свободный пахарь добровольно оборачивается скотом. Когда страх вбит так глубоко, что становится рефлексом. Никто его не бил. Жандармы даже не взглянули. Он сам. Сам себя сломал.

Полковниченко шагнул за ворота вокзала. Каблуки стучали по мокрому камню — чётко, мерно, нарочито громко.

Позади — согнутая фигура в слякоти. Впереди — сырые улицы чужого города.

Город жил. А полковник шёл сквозь него — как тень по чужой стене.

Грязь взялась за него сразу — деловито, по-хозяйски, едва он ступил с вокзальных плит на живую городскую землю.

Под подошвой чмокнуло. Засосало. Сапог ушёл по щиколотку в маслянистую жижу — вековой замес на жирной галицийской глине, на конском навозе, на гнилой соломе и прелых осенних листьях. Полковниченко дёрнул ногу — земля нехотя, с непристойным чмокающим звуком отпустила добычу.

Из тёмного провала ближайшей подворотни ударило в ноздри: аммиак застоявшейся мочи, едкий угольный дым, кислые помои и поверх всего — тяжёлый, сладковатый дух навоза, который месили в кашу тысячи копыт и колёс. Полковниченко перехватил дыхание ртом. Слюна стала горькой.

Этого запаха раньше не было.

Пахло кофе из «Централя» на углу — настоящим, венским, с корицей. Горячей выпечкой из булочной. Липой, которая цвела в июне и заливала весь город мёдом.

Теперь — гниль. Моча. Нищета.

Дома вдоль главной улицы стояли те же — знакомые, с витиеватыми эркерами, с лепниной в виде виноградных лоз под карнизами, с высокими арочными окнами. При дедушке Франце-Иосифе они сияли императорской жёлтой охрой — «шёнбруннским жёлтым», цветом стабильности и закона. Теперь штукатурка вздулась пузырями и обваливалась пластами, обнажая рыхлый кирпич — как содранная до мяса кожа.

Но поверх этого честного умирания — нагло, ярко, победительно кричали новые хозяева. SKLEP KOLONIALNY. APTEKA. PIEKARNIA.

Свежая синяя эмаль. Золотые витиеватые буквы. Латиница — везде, на каждом углу, на каждой стене.

Полковниченко шёл, не останавливаясь. Колено скрежетало. Саквояж тянул руку вниз.

Фонари ещё не зажглись, тени удлинились — день перевалил и клонился к вечеру. Свет стал жиже, серее, отцеживался сквозь облака, как через ряднину.

Возле крохотной бакалейной лавки, прижавшись спиной к стене, стояла старуха.

У распухших, обмотанных тряпками ног — плетёная корзина. В ней горка яблок. Мелкие, красные, побитые тёмными боками — поздние осенние дички.

Сама старуха замотана в платок: виден только острый, как клюв, нос да запавший беззубый рот. Глаза — маленькие, цепкие, как у напуганной птицы — быстро обегали прохожих.

Из-за угла вывалился городской.

Не жандарм — обычный «гранатовый», в тёмно-синем мундире с бляхой, с резиновой дубинкой на поясе. Шёл вперевалочку, дожёвывая на ходу жирный кусок сала с хлебом. Подошёл к старухе. Остановился, нависая горой. Отёр жирные пальцы о штанину.

— Precz stąd!

Старуха сжалась — мгновенно, всем телом, плечи вперёд, голова в плечи. Попыталась что-то пролепетать, указывая дрожащей рукой на яблоки.

Городовой не стал слушать. Лениво, даже не злобно, мимоходом — пнул корзину ногой. Корзина опрокинулась.

Красные яблочки покатались — яркой россыпью по навозной жиже, в мутные лужи, под ноги прохожим. Одно закатилось под сапог проходящего мужчины — тот наступил, не заметив, раздавил с влажным хрустом и пошёл дальше.

Красные, круглые — по чёрной земле. Раздавленная мякоть впечаталась в камень — светлым пятном в грязи, похожим на содранную кожу.

В висках толкнулось — тяжело, гулко.

И мир — кончился.

Земля рванулась из-под ног, как пахотный пласт из-под лемеха. Улица, старуха, лавка — всё смазалось, поплыло, затянулось багровой плёнкой.

В глазах — красное. В ушах — гул, нарастающий, как натянутая до предела струна.

Евгений Петрович попытался: вдох. Считай. Раз—

Не вышло.

Счёт рассыпался. Вместо цифр — вой. Сплошной, утробный, звериный вой тысяч глоток, — и он уже не на улице Златополя, нигде, падает в воронку, а воронка воняет мазутом, йодом, палёным мясом, — и перед воспалёнными глазами, багровея, встаёт ноябрь двадцатого года.

Севастополь.

Последний берег. Конец русской суши.

Воздух исчез — вместо него густой бульон катастрофы. Режущий лёгкие йодистый дух стылого моря. Едкий аммиачный дым конского пота. Сладковатый запах всеобщего страха. И жирная вонь горелого мазута, стекавшего ручьями из пробитых баков в бирюзовую, помутневшую от нефти воду.

И вой. Страшнее всего — вой.

Не гудки уходящих пароходов — прощальные, тоскливые басы, увозившие осколки Империи в турецкое никуда, — а тот другой звук, перекрывавший всё. Выли люди, брошенные на пирсах. Выли собаки, оставленные хозяевами.

В багровом, прерывистом отсвете пожаров, жравших портовые склады, он увидел Их.

Лошадиные головы.

Сотни лошадиных голов, плывущих в тёмной, маслянистой от нефти воде следом за удалявшимися баржами. Казачьи кони, офицерские рысаки — верные боевые товарищи, прошедшие с седоками от Галиции до Дона и обратно. Звери, выкатив в смертном ужасе налитые кровью белки, храпели, захлёбывались ледяной солёной волной, били копытами по воде, сиюсь нагнать уходящее железо. Тянули шеи к людям, которых считали богами.

Их простой, честный ум не мог вместить предательства: почему те, кого они грели тёплыми боками в зимних степях, кого выносили из-под картечи, — стоя теперь на высоких бортах, плача и крестясь, — обрубали канаты топорами и били их вёслами по мордам, отгоняя прочь?

На берегу кипело месиво. Крики матерей, потерявших детей в давке, проклятия, молитвы — и сквозь всё, поверх всего, сухие лающие щелчки револьверных выстрелов. Офицеры, те, для кого Честь была единственным уставом, пускали пулю в висок прямо на набережной, не в силах ступить на чужой берег.

Гремели сходни, лязгали якорные цепи. Земля отвергла этих людей — выталкивала с суши в море, с России в никуда.

Там, в бухте, уходили на илистое дно, пуская пузыри, ордена и иконы, золото и архивы, захлебнувшиеся лошади и втоптаные в прах полковые знамёна.

Тысяча лет от Крещения Руси — и горсть пузырей на чёрной воде.

И сквозь Севастополь — тонкой иглой, как сверло по живой кости — тот писк. Детский. Комариный. С перрона. Наслоился на вой. Смешался. Две бездны — одна.

Ладонь ударилась о стену — шершавую, сырую, реальную.

Боль отрезвила.

Полковниченко стоял, привалившись плечом к облупленной кладке, и хватал воздух — коротко, жадно, как после удара под дых. Пот заливал глаза. Сердце било в рёбра — гулко, как в порожнюю бочку. По спине, под сукном, стекал ледяной пот.

Разлепил веки. Жгучие, влажные.

Улица. Хлябь. Вечерний свет — тусклый, сивый. Старуха — на корточках, у стены — молча, по-деловому, привычно собирала свои яблоки. Выуживала из жижи, вытирала подолом юбки. Грязь размазывалась по красной коже тёмными полосами. Складывала обратно в корзину. Губы шевелились — беззвучно, быстро, — не то молитва, не то счёт.

Привычно. Не впервые.

Лицо её было спокойным. Каменным.

Полковниченко глядел.

Городовой давно ушёл. Прохожие шли мимо. Никто не наклонился.

Он тоже не наклонился.

Замер. Глядел, не двигаясь.

Не потому что не хотел. Не потому что боялся. Потому что внутри — там, откуда берётся сила поднять чужую ношу, — было выскоблено дочиста.

Старуха подобрала последнее яблоко. Распрямилась — медленно, с оханьем. Подхватила корзину. Побрела прочь, шаркая по слякоти.

Полковниченко оттолкнулся от стены. Перехватил саквояж.

И потащился дальше.

Не заметил, что плечи опустились. Что спина, которую держал прямо с самого вагона — через весь перрон, через вокзал, через привокзальную хлябь, — ссутулилась. Тихо. Беззвучно. Как лопается натянутая жила — без звука, только отдача внутри.

Не заметил.

Но тело — заметило.

Шёл ещё два квартала, прежде чем остановился снова. Уже не по своей воле — ноги встали сами.

Дом стоял на тихом повороте, где улица делала излом.

Двухэтажный. С круглым эркером, покрашенным некогда в густой зелёный — «суворовский» — цвет. С балконом, огороженным пузатыми коваными решётками. Краска облупилась, решётки проржавели, но кладка была та самая. Тот самый поворот. То самое дерево у ворот — старый, узловатый каштан, голый и чёрный.

Горло сдавило — мягко, душаще.

Видел всё, ярче, чем улицу перед собой.

Просторный кабинет. Трубочный табак, сушёные вишни, старая бумага. На стене — Карта. Огромная, цветная, во всю стену: Российская Империя, от Варшавы до Владивостока.

Дядька — на цыпочках, водит толстым пальцем по Карте. Шёпотом, озираясь на дверь:

«Гляди, Женька. Вот она — Русь. Великан спящий. А мы здесь, в Галиции — ноготь на мизинце. Но кровь — то одна. Под чужим цысарём живём, а сердце наше — там».

Зачем послал? — мысль пихнула, садная, как заноза под ноготь. — Зачем отдал всё? Золото. Меня. Если бы не послал — жил бы. Не попал бы в списки. Не сгинул бы в Талергофе.

И тут же — стыд, обжигающий, как плевок в лицо. Стыд за эту мысль. Дядька отдал ему жизнь. А он стоит и винит мертвеца.

Дядька сунул ему в руку золотые дукаты. Перекрестил.

«Беги . В Киев . Служи Белому Царю».

Талергоф. Известковые ямы. Колючая проволока. Список расстрелянных, напечатанный мелким шрифтом в газете, которую он прочёл в Стамбуле, через шесть лет после того, как всё кончилось. Фамилия дядьки — в третьем столбце. Без подробностей.

Растворился. Как дым.

На фасаде дома висела вывеска:

АРТЕКА mgr. Яблонский

Под ней — нарисованная масляной краской змея, обвивающая чашу.

За окном второго этажа горел свет. Там жили чужие люди. Пили чай из дядькиных чашек.

— Всё было зря, — прошептал Полковниченко в сырой воздух.

Слякоть под ногами хлюпнула. Побрёл дальше. Медленно. Грузно. Как идут с похорон.

Купола увидел, когда уже стемнело.

Над серыми крышами, пронзая низкую свинцовую тучу, блеснуло золото — тускло, но упрямо. Пять зелёных маковок, покрытых чешуёй старой меди, увенчанных крестами — широкими, православными, с косой нижней перекладиной.

Ноги пошли быстрее. Сами.

Собор стоял на мощёной площади — массивный, приземистый, белый. Старый храм ещё тех времён, когда здесь правили вольные русские князья. Стены в сажень толщиной, белёные известью, пошедшие трещинами. Окна узкие, как бойницы.

Этот камень помнил всё. Литовских князей. Татарские набеги. Унию. Иезуитов. Австрийцев.

И стоял.

Полковниченко шагнул к воротам.

Массивные дубовые створки были закрыты наглухо. Сквозь кованые кольца — тяжёлая цепь. На цепи — амбарный замок, ржавый, угрюмый.

К дереву, прямо на святые врата, тремя гвоздями прибит жёлтый лист бумаги.

Прочитал. Медленно. По-польски.

Воскресенье : 9:00 — 12:00. Среда: 17:00 — 18:00. ZAMKNIĘTE POZA GODZINAMI.

Закрыто.

Бог принимает с девяти до двенадцати. Потом у Бога обед.

Полковниченко стоял перед запертыми воротами. Молча. Долго.

Потом поднял правую руку. Перекрестился — коротко, сухо. Не молитва. Свидетельство.

Развернулся. И зашагал прочь.

Не оборачиваясь. Не глядя под ноги. Земля чавкала, причмокивала, тянула подошвы. На корне языка — полынная горечь, ветром принесённая с пустырей. Где-то плакал ребёнок. Хлопнула дверь. Глухо, вдалеке, залаяла собака.

Ночь густилась.

Он шёл ещё долго. Ноги несли сами — по инерции, как несут выбитую из строя лошадь к знакомой коновязи.

Дом, который он нашёл по бумажке с адресом, притулился на самой дальней окраине, там, где город терял фасад и стыдливо переходил в овраг, заросший чертополохом. Двух-этажный, старой купеческой кладки, с провалившимся балконом, со штукатуркой, висевшей клочьями. Раньше здесь, наверное, жила одна справная семья — пили чай, сушили варенье.

Теперь, судя по гулу и детскому плачу за перегородками, в каждой комнатёнке ютились по пятеро.

Полковниченко отвели каморку на втором этаже, в конце коридора.

У двери стояла хозяйка — ссохшаяся в запятую старуха в засаленной юбке. Лицо изрезанное морщинами, как забытая в погребке репа. Немая она была. Не от рождения — от горя: когда австрийцы в четырнадцатом вешали её мужа на каштане во дворе за «пособничество русским», у неё что-то оборвалось в горле и не срослось. С тех пор — ни звука.

Посмотрела на Полковниченко снизу вверх. В глазах — ничего. Ни любопытства, ни жалости. Влезет ли жилец в комнатёнку.

Сунула ключ — холодный, увесистый, стариннойковки. Пальцы её, сухие, смуглые, коснулись на мгновение его ладони — и отдёрнулись, как от калёного. Ушла в темноту коридора. Тапочки шаркали всё тише, потом замолкли.

Поднимался медленно. Перила шатались, ступени стонали. Спину не распрямил — не мог. Или не хотел. Саквояж бил по ноге. Из-за одной двери доносился хриплый мужской голос — ссора или молитва, не разобрать. За другой — монотонно, жалобно плакал ребёнок.

Вставил ключ. Повернул. Лязгнуло. Вошёл. Накинул крючок.

Щелчок отрезал его от Златополя, от Польши, от всей этой новой, неправильной Европы. Один.

Каморка — пенал. Три строевых шага в длину, два в ширину. Единственное окно узкое, заросшее пылью — мир сквозь него виделся мутным. Железная койка с продавленной сеткой, колченогий стол, один стул. Стены сочились сыростью — плесень расцветала по углам ядовитыми пятнами. Под досками пола возились мыши. Пахло керосином — на столе стояла закопчённая лампа с огрызком фитиля. В углу — холодная буржуйка. Топить нечем. Из рта шёл пар.

Снял шинель. Она отяжелела за день, впитав сырость Златополя, подол потемнел от налипшей глины. Повесил на ржавый гвоздь у двери.

Сукно повисло — серое, обезличенное. Без золотых погон, которые он сам спарывал маникюрными ножницами на борту парохода в Босфоре. Без звёздочек. Без орлов на пуговицах. Просто кусок старого сукна. Но крой ещё помнился, и даже на гвозде держалась выправка.

Сел на койку. Пружины взвизгнули. Где-то этажом ниже кто-то закашлялся — надсадно, долго, с присвистом.

Стащил сапоги — долго, с болью. Ступни белые, сморщенные, с синими венами. Офицерские ноги, истоптавшие полмира.

Поставил на стол саквояж. Кожа на нём потёрта до замши, углы сбиты до дыр. Медные застёжки позеленели, но работали.

Щёлкнул замками — резкий, сухой звук, как выстрел в тишине.

Постоял мгновение, не открывая. Здесь — всё. Всё, что осталось от пятидесяти лет. Если отберут — он перестанет быть собой.

Раскрыл.

Первой извлёк бритву. Кожаный футляр, бархатистый на ощупь. Золинген. Лезвие узкое, хищное, сверкнуло даже в полумраке. Рукоять — эбеновое дерево, тёплое от ладони. Провёл подушечкой пальца вдоль кромки — не касаясь, чувствуя холод стали. Перед глазами — Константинополь. Бывшие полковники на мостовой, заросшие щетиной до глаз, в лохмотьях. Протягивают руки за подаванием. Он дал себе клятву тогда, на Галатском мосту: никогда. Сдохну, но с чистым подбородком.

Положил бритву на стол. Строго параллельно краю.

Рядом — воротнички. Четыре штуки. Белые, туго накрахмаленные. Один безупречный. Два ношенных, но ещё белых. Четвёртый сероватый, но годный. Воротничок — это граница. Она проходит по шее. Отделяет голову, в которой живёт честь, от тела, которое хочет есть и

мёрзнет. Пока воротничок бел — голова держится. Разгладил ткань ладонью — нежно, как разглаживают лик на иконе. Сложил обратно. Угол к углу.

Фотография. Небольшая, с ладонь. Углы помяты. Севастополь, осень девятнадцатого.

Пятеро офицеров у белой стены. Белые кителя. Золото погон. Георгиевские кресты. Лица молодые, жёсткие. Глаза смотрят прямо в объектив — спокойная обречённость.

Крайний слева — он. Сорок три года. Расправленные плечи. Франтовато подстриженные усы. Верит, что Добрармия возьмёт Москву.

Рядом — Серёжа Ковалевский. Застрелился в Стамбуле, проиграв последние лиры. Миша Дроздов — утонул с баржой по пути в Бизерту. Граф Лисицын — таксовал в Париже, пропал, на письма не отвечает. Колька Шубин — перешёл к красным ещё в Крыму.

Из пятерых — он один.

Пять пар глаз смотрели на него из прошлого. Выдержал их взгляд. Кивнул.

Евангелие извлёк следом. Карманное, в потрескавшемся переплёте. Страницы пожелтели, края засалены. Раскрыл наугад. Провёл пальцем по строчкам кириллицы.

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить ...»

Храм на улице заперт на замок. Но здесь, на этом столе, связь не прервана. Пока в руках Слово — вертикаль стоит. Тонкая, как нить. Но нерушимая.

Положил рядом с фотографией.

Последними легли на стол часы и записная книжка — бок о бок, как старые сослуживцы. Часы — карманные, серебряные, на массивной цепочке, подарок дяди на поступление в юнкерское. Три войны, революции, тиф, эмиграция — а механизм всё тот же, и белый эмалированный циферблат всё так же глядел римскими цифрами, равнодушный к трагедиям. Взял ключик. Пальцы дрожали — мелкая, предательская дрожь, не отпускавшая с перрона. Перехватил крепче. Вставил. Повернул. Хр-р, хр-р, хр-р. Три оборота. Закрыв крышку. Семь вечера по варшавскому.

Книжка — в рыжем кожаном переплёте, наполовину исписанная убогим почерком. Последняя запись: *«Париж. 12 октября. Дочитал Шпенглера. Страшно, но правда. Мы — уходящая натура»*. Рядом — карандаш. Огрызок, искусанный зубами, но остро заточенный.

Вещи лежали на столе в идеальном порядке. Как инструменты хирурга перед операцией.

Бритва. Воротнички. Фотография. Евангелие. Часы. Книжка.

Порядок восстановлен.

Но образы дня не отпускали. Стояли за плечом. Сверлили мозг.

Вывески. Замок на цепи. Согнутые спины. Красные яблоки в навозной жиже. Писк.

Взял карандаш. Открыл книжку на чистой странице. Писал медленно — буквы выходили прыгающие, чужие, кисть ходила ходуном.

«Златополь . Октябрь . Здесь встретились две умирающие Культуры . Одна уже мертва — и потому не чувствует боли . Вторая ещё жива — и корчится . Мёртвое побеждает живое . Не силой . Бесчувствием . Мёртвому не больно убивать» .

Закрыв книжку.

Встал. Пятки сошлись — сухой щелчок. Руки по швам. Подбородок поднялся. Не было приказа. Не было строя. Не было никого, кто бы видел. Но он стоял. Десять секунд. Пальцы дрожали — тело вытянулось, руки нет. День оставил след, и стереть его было нельзя.

Пост не сдан.

Выдохнул.

Чиркнул спичкой. Поднёс к фитилю. Тот занялся неохотно, затрещал, но разгорелся — жёлто-красным, дрожащим пламенем. Свет выхватил из темноты его редут. Бритва блеснула сталью. Лица офицеров на фотографии выступили из тени. Золотой обрез Евангелия сверкнул.

Маленький огонь. Жалкий. Но горит.

Полковниченко лёг на жёсткую койку поверх одеяла, не раздеваясь. Подложил под голову свёрнутую шинель.

Закрыл глаза.

Кости ныли. Но внутри — не покой, нет. Упор. Как у столба, вбитого в мёрзлую землю.

Завтра встанет. Побреется. Наденет чистый воротничок. Выпрямит спину. И выйдет.

Часы тикали. Дождь барабанил по крыше. Мыши шуршали. Где-то внизу гудел храп — ровный, как далёкая пилорама.

Он уже засыпал — проваливаясь в глухую, без сновидений глубину, — когда за стеной, сквозь тонкую перегородку, прошёл голос.

Мужской. Негромкий. По-русски.

Слов не разобрать — только интонация. Ровная. Спокойная. Кто-то читал вслух.

Полковниченко уставился в темноту.

Слушал.

Голос оборвался на полуслове. Тишина. Тиканье. Дождь.

Глаза оставались открытыми — долго, в темноте.

Где-то далеко, за сотни вёрст отсюда, за Збручем, за границами, прочерченными жирным по живому, в другом сыром и каменном городе, где говорили на ином наречии, в эту самую минуту тоже закрывали папку. Там, в тишине кабинета с двойными рамами, отсекавшими уличный скрежет, сухая рука с безупречным маникюром только что вывела поперёк титульного листа слово, угловатое и горькое на вкус. Слово, пахнущее той же травой, что сейчас стояла у него на корне языка.

Полынь.

Евгений Петрович не мог знать этого. Но тело, выдрессированное годами контузий улавливать колебания невидимого эфира, вдруг напряглось — так напрягается собака перед грозой, которой ещё нет на горизонте. Спазм прошёл по диафрагме. Горечь во рту стала гуще, словно он разжевал сухой веник.

Связь между русским голосом за фанерной стеной и немецким словом на плотной бумаге была тоньше паутины. Но она была. И она уже натянулась.

Часы на столе тикали. Одно время — на двоих.

Он закрыл глаза. Темнота сомкнулась. Но спал он теперь чутко — сном человека, которого уже внесли в чей-то чужой, аккуратно расчерченный реестр.

ГЛАВА 2. ОПЕРАЦИЯ «WERMUT»

— Wermut — нем.: полынь; горький настойный напиток; яд, именуемый абсентом.

Тик-так.

В Берлине время шло иначе, чем в Златополе. Там, на востоке, оно месилось глиной, тянулось обозным скрипом и отдавалось в костях ломотой на дождь. Здесь, в сердце побеждённой, но не сломленной Германии, оно отстукивало размеренно, как ход хорошо смазанного механизма — тик-так, тик-так — безжалостно отсчитывая такты ещё не написанной партитуры.

Осенью двадцать шестого года Германия жевала свою обиду, как лошадь жуёт удила — привычно, зло, до кровавой пены на губах. Горечь витала и здесь, но иная — не степной полынный дух, а кислая вонь дешёвого табака, карболки и сырых подвалов. Ещё помнили, как три года назад за булку хлеба платили тачками, набитыми марками; как жгли пачки банкнот вместо дров, потому что бумага горела дольше, чем стоила. Гиперинфляция кончилась, но дух её — дух унижения, злости и безнадёжности — всё ещё бродил по берлинским улицам, въевшийся в камень, в штукатурку, в людские лица, как сажа въедается в белое полотно.

На Нолендорфплац каждое утро торчал фронтовик — обломок, вкопанный в мостовую. Потёртая шинель. Спички и карандаши на дощечке. Одна нога деревянная, другая — своя, но так же мертва. Трамваи скрежетали по рельсам, набитые людьми в пальто, которые носили с четырнадцатого года. Женщины с измождёнными лицами несли из лавок хлеб и картошку, считали каждый пфенниг, и счёт этот стоял у них в глазах — тусклый, неотступный, как зубная боль. Безработные сидели в пивных, уставившись в кружки, и пиво отражало им их же лица — серые, расплывшиеся, ничьи. За столиками студенты в очках размахивали газетами, где было напечатано, что Версаль — не мир, а кандалы, что Германия ещё встанет.

В этом городе, уставшем и озлобленном, жила другая Германия — та, которая не сдавалась никогда. Она не говорила с трибун. Она сидела в кабинетах с двойными рамами, чертила карты, переставляла фигуры на невидимых досках. И ждала.

Кабинет был монументален и мрачен, как склеп, в котором хоронят не людей, а замыслы.

Высокий потолок нависал давяще. Дубовые рамы окон затянуты порттьерами цвета перезревшего мха. Паркет натёрт до блеска, но в углах, куда не доставал слуга, лежала тонкая пыль — точно пепел несостоявшихся приказов. На массивном письменном столе из тёмного дуба стояла бронзовая чернильница, лежала стопка чистой бумаги с водяными знаками и нож для конвертов в виде римского меча — маленький, бесполезный меч, и потому особенно зловещий.

В углу — напольные часы, ещё кайзеровские, с медным маятником. Кто-то завёл их при кайзере. Теперь они отмеряли другое время.

У стены висела огромная карта Восточной Европы. Границы прочерчены жирными линиями — красными, чёрными, синими. Новая Польша, вытянутая между Германией и Россией, торчала нарывом между двух рёбер — ни вырезать, ни терпеть. Данциг. Познань. Силезия. Восточная Пруссия, отрезанная от тела чужой землёй.

У карты стояли двое.

Генерал фон Лоттвиц был грузный, обветшалый человек. Лицо багровое, с сеткой лопнувших сосудов на щеках — как потрескавшаяся глазурь на фарфоре, который ещё цел, но уже не годен к столу. Мундир сидел безупречно, но сам он в этом мундире смотрелся манекеном истории — застывшим, ненужным новому времени. Крахмальный воротничок подпирал подбородок, не давая голове опускаться. Стоял выпрямившись, да спина всё равно была согбенная — как у человека, который много лет нёс на себе тяжесть, а теперь её сняли, а хребет

так и остался гнутым. Правая рука медленно ходила по сукну, массируя колено, что ныло на дождь со времён Марны.

Генерал глядел на карту — не как военный, а как бывалый кобель, которому показали кость, а челюсти уже не те.

Рядом — гражданский аналитик из отдела «Восток», герр Краузе. Невысокий, сутулый, в сером костюме, чуть великоватом в плечах. Очки в золотой оправе съезжали на нос — он их поправлял нервным движением, ежеминутно, будто стряхивал с лица невидимую паутину. Виски влажные, хотя в комнате было прохладно. В руках он держал толстую картонную папку, перевязанную тесёмками, и пальцы его машинально перебирали корешок — так перебирают чётки люди, которые давно не молятся, но всё ещё боятся.

На обложке готическим шрифтом вытиснено: «*POLEN*». Ниже, карандашом: «*Ukrainische Minderheit*».

В глубине кабинета, у высокого окна, спиной к ним стоял третий.

Высокий, сухой, с прямой спиной. Руки в карманах безупречно сшитого твидового пиджака английского покроя. Не военная выправка — расслабленность человека, который уверен в своём праве находиться где угодно и не обязан ни перед кем вытягиваться. В правой руке — сигара. Серебряный портсигар на подоконнике, рядом с локтем. Струйка дыма восходила к потолку, и пахло хорошим гаванским табаком, а под ним — едва слышно — лавандовым одеколоном.

Это был майор Ганс-Дитрих фон Лееб. В оперативных сводках — герр Шмидт.

Он смотрел на серые крыши Шенеберга, на площадь, где в четырнадцатом году толпы провожали солдат, а теперь — пустые трамваи и утренняя слякоть. Смотрел не с жалостью, не с презрением — с холодным, почти анатомическим любопытством, с каким изучают больного, которого ещё не решили — лечить или вскрывать. Лицо было породистое, с острыми, скупно прорезанными чертами — ничего лишнего, каждая складка под контролем, как у человека, давно отучившего себя от произвольных движений.

Не оборачивался. Ждал.

Краузе сглотнул, сдвинул очки.

— Ситуация патовая, экселенц. Пилсудский укрепляется. Франция накачивает Варшаву кредитами. Строят санитарный кордон от Балтики до Чёрного моря. Нас отрезают от России.

Генерал хмыкнул — коротко, резко, как скрежет гравия под сапогом.

— Кордон... — он ткнул толстым пальцем с печаткой в карту; бумага чуть вздрогнула под ударом. — Они построили ублюдочное государство на наших землях, Краузе. Данциг — наш. Силезия — наша. Познань — наша. А Версальский мир раскрыл Европу, как пьяный портной тряпку. Кромсал, не мерив. Польша — нарыв. Он гноится.

Краузе не возразил. Генерал говорил то, что все здесь думали, — но говорил так, будто ещё мог приказать исправить. Аналитик достал платок, протёр стёкла.

— Именно так, экселенц. Нарыв. Но прямой удар невозможен. Рейхсвер скован. Сто тысяч штыков — и ни одного больше. Любая активность на границе вызовет истерику в Париже и Лондоне. Шпагой не довоюем. Раздавят.

Перелистнул первую страницу, кашлянул. Голос пошёл мерно, как строчка по линейке, — и так же мертво.

— План «Кордон», экселенц. Финансирование трёх независимых боевых групп. Цель — диверсии на железнодорожном узле Златополь–Тернополь. Саботаж. Поджоги польских административных зданий. Атмосфера постоянной тревоги в приграничной полосе. Бюджет — сто тысяч рейхсмарок золотом. Через швейцарские счета подставных фирм.

Генерал слушал нахмурившись. Рука не переставала потирать колено.

— Надёжно, — пробормотал он, когда Краузе умолк. — Стандартно. Мосты, рельсы, склады... Всё это мы уже проходили. Во Фландрии. В Артуа. Взорвёшь им мост — через неделю наведут новый. Человеку всегда есть, по чему идти, если ему очень надо.

Старик перевёл взгляд туда, где маленькими буквами выведено «*Zlatopol*».

В глубине кабинета Шмидт не шевелился. Сигара в его руке давно остыла, но он не замечал этого — или не считал нужным замечать.

Потом обронил, не поворачивая головы:

— Скучно.

Одно слово. Приглушённое. Без насмешки. Но от него в комнате сделалось так глухо, будто портьеры сдвинулись ещё на вершок и выжали из воздуха остатки звука.

Краузе замер, вцепившись в картон.

— Нафталин и девятнадцатый век, — продолжил Шмидт тем же ровным голосом. Повернулся. Свет из окна упал на лицо — скулы, провалы под глазами, ледяные светло-голубые глаза. Никакого фанатизма. Спокойствие хирурга, который уже разметил линии разреза.

Двинулся к столу. Шёл медленно, без военной резкости — как фехтовальщик, который знает, что противник уже обезоружен, и потому может позволить себе красоту.

— Диверсии, поджоги... Вы мыслите категориями партизанщины, герр Краузе. Динамит, фитиль, ночной переход. Дорого, хлопотно, и в конечном счёте — не эффективнее, чем тушить пожар мочой.

Краузе залился краской от шеи до лба — медленно, густо, как жар заливает горн.

— Но, экселенц, майор... такие меры показали действенность. В войну...

— В прошлую, — перебил Шмидт мягко, как учитель поправляет ученика, не надеясь, впрочем, что тот поумнеет. — В ту, которую мы проиграли.

Часы в углу пробили четверть.

Шмидт коснулся карты кончиком остывшей сигары — не прожигая бумагу, а лишь указывая, как вивисектор указывает на снимок.

— Мы воевали шпагой против штыка, — выговорил он вполголоса, с той небрежностью, которая бывает у людей, учившихся в Гейдельберге и Оксфорде. — Честь против массы. Рассчитывали, что мир будет играть по нашим правилам. Мир не стал.

Провёл пальцем по польской границе — как по шву на плохо сшитом мундире.

— Теперь вы предлагаете снова достать ту же шпагу. Подточить, начистить — и выйти с ней против пулемёта.

Краузе стоял неподвижно. Шмидт говорил о его плане, но глядел не на него — на разложенные перед ними рубежи, как смотрят на операционный стол, а не на сестру, подающую инструменты.

— Динамит — орудие глухое, тупое. Дадите им взрывчатку — взорвут мост, украдут часть, часть продадут. Потом пойдут пить самогон и жаловаться на судьбу. Через месяц половина сопьётся, вторая — разбежится.

Помедлил.

— Вы даёте им орудие, герр Краузе. Но не даёте смысла.

Генерал фыркнул.

— А вы, стало быть, хотите дать им смысл? Мы военные, фон Лееб, а не проповедники. Какую идею вы дадите этим крестьянам? Они грамоте-то толком не обучены.

Шмидт слегка наклонил голову, принимая возражение, — вежливо и ни к чему не обязываясь.

— Не недооценивайте крестьян, генерал. Письмо — вещь полезная, но ненужная, когда речь идёт о настоящей вере. Достаточно, чтобы один читал вслух, а остальные слушали. Грамота ни при чём — работает голос.

Шагнул к карте вплотную. Ладонь легла на сектор к востоку от Львова.

— Взгляните. Галиция. Волынь. Лоскутное одеяло, сшитое гнилыми нитками. Поляки, украинцы, евреи, остатки русских... Австрийский генштаб десятилетиями выращивал здесь национализм — как противовес России. Работали грубо, но вектор был верным. Теперь эти земли под Польшей — и это их уязвимость. Трещина в фундаменте. Нужно только знать, куда вставить клин.

Генерал нахмурился.

— Снова поддержать Петлюру и его банды? Хаос, фон Лееб. Бессмысленный славянский хаос. Невозможно контролировать.

— Нет. Петлюра — дилетантство. Эмоции. Истерика.

Шмидт отнял ладонь. Повернулся к генералу.

— Мы не будем поддерживать хаос, генерал. Мы будем его культивировать.

Дал тишине осесть — ровно столько, чтобы слово дошло.

— Мы станем садовниками.

Генерал непроизвольно сжал кулак — не от злости, от чего-то такого, чему бывалый солдат не знал названия, но что морозило затылок.

— Поймите, с каким материалом мы имеем дело, — продолжил Шмидт, не повышая голоса. — Народ, который проигрывал всегда. Их били поляки. Их били русские. Их покупали и бросали австрийцы. Собственной государственности нет, но есть другое — вековая, загустевшая обида.

Ладонь прошла по воздуху, медленно, показывая, как поднимается тесто в кадushке.

— Обида — густая, тёмная смола. Оставь без присмотра — застынет намертво, и люди пьют, воруют лес, молятся иконам, ругают всех подряд и ложатся помирать раньше срока. Сорная трава.

Стихло. Он отступил к окну. Положил остывшую сигару на край подоконника, достал из портсигара новую, чиркнул спичкой. Огонёк высветил скулы, провалы под глазами — на миг показалось, что у лица нет плоти, только кость и тень. Затянулся. За стеклом проскрежетал трамвай — глухой удар колёс о стрелку, и тишина.

Дым медленно выполз из губ, повис в скупом осеннем свете, растекаясь, как мысль, которую ещё не произнесли.

— Вы когда-нибудь бывали в тех местах осенью, генерал? — спросил он, глядя за стекло. — Там, на востоке. Где степь, балки, редкие посадки.

Фон Лотвиц выждал.

— Был, — буркнул он. — Под Ковелем. Под Луцком. Сыро. Глина. Непролазь.

— Там, на насыпях, у дорог, растёт трава, — сказал Шмидт. — Серо-зелёная. Невзрачная. Коза не тронет, а конь от голода — всё равно морду воротит.

Повернулся от окна. Сигара в руке, дымок над плечом.

— Полынь. Wermut. Сорви, пожуй — во рту горечь. Язык вяжет. Слюна становится как железо. Запах въедается так, что после кажется — всё вокруг пахнет прелой землёй и могилой.

Сделал шаг к столу.

— Упрямое растение. Честное. Растёт там, где было выжжено, где ступали армии, где лежат кости. Вино из этой травы дурманит голову — человек пьёт, и ему кажется, что мир другой, чем он есть.

Остановился. Посмотрел генералу прямо в глаза — и на мгновение светло-голубые зрачки Шмидта сделались совсем прозрачными, как лёд на мелководе, сквозь который видно тёмное дно.

— Нам нужно впрыснуть в их вены яд гордыни. Сделать так, чтобы они поверили: их унижение — не слабость, а знак избранности. Что все вокруг — поляки, евреи, русские — не просто враги, а нечто ниже их, грязь, мешающая вырасти в полный рост. Тогда обида перестанет быть мёртвой смолой и вспыхнет.

Голос не изменился. Та же лекционная размеренность. Но в кабинете сделалось зябко, словно кто-то отворил форточку в ноябрь.

— Мы накормим их этой полынью. *Wermut*. Они напьются гордости и ненависти — и этим ядом отравят всё вокруг.

Никто не произнёс ни слова. В углу маятник ударил раз — и смолк, будто тоже слушал.

— «*Kordon*», — выговорил Шмидт с безразличностью, как чужое, залежалое слово. — Название для таможенного пропуска. Для шлагбаума. Оно говорит о линии, о границе.

Коснулся пальцем титульного листа, где чётким машинописным шрифтом стояло обречённое теперь слово.

— А то, что мы задумали, генерал, — не черта на карте.

Выждал.

— Это вкус. Запах. Состояние.

Пауза — чугунная, давящая.

— *Wermut*.

Слово легло в тишину и осталось — горькое, точное, неотменимое.

— Перепишите титульный лист, Краузе.

Аналитик торопливо, сбиваясь, развязал тесёмки. Шуршание картона в безмолвии кабинета прозвучало оглушительно — так шуршит земля, когда её бросают на крышку. Краузе взял со стола карандаш. Рука чуть дрогнула. Тщательно, стараясь не порвать бумагу, зачеркнул «*Kordon*». Полоска серого грифеля легла поверх чётких букв, как перечёркивают имя в списке живых.

Грифель скрежетнул. Звук был отрывистый, сухой — как царапают по дереву.

Под зачёркнутым словом он медленно вывел: *Wermut*.

Шмидт взял перьевую ручку. Встряхнул, чтобы чернила пошли без клякс. Наконечник блеснул в свете лампы — остро, хищно, как жало. На секунду задержал перо над строкой. Потом уверенно повёл по бумаге. Чернила легли чёрной блестящей полосой, и подпись была скупая — несколько букв и резкий росчерк, будто кто-то одним взмахом отсек лишнее.

Поставил точку. Приподнял лист за край — чернила подсохли. Положил обратно, сровнял подшивку.

— Операция «*Wermut*». Цель: превращение национальной обиды в управляемую агрессию. Средства...

Остановил взгляд на генерале.

— ...считаем неограниченными.

— Действуйте, Краузе. Согласуйте каналы финансирования. Первые всходы — к Рождеству.

Маятник ударил три четверти. Механизм чуть скрипнул — ветхий, смазанный когда-то давно, когда ещё верили, что время лечит.

Краузе поднялся. Нога предательски дрогнула, он качнулся, стиснув досье. Поспешно щёлкнул каблуками — вышло неровно, один удар громче другого, как сбившееся сердце.

— Слушаюсь, герр майор, экселенц.

Прижал папку к груди обеими руками — нёс, как несут снаряд с выдернутой чекой, — бережно, страшно, не дыша. Дверная ручка под ладонью была гладкая, отполированная ладонями тех, кто брался за неё и уже не возвращался. Дверь закрылась мягко.

В кабинете остались двое.

Генерал не сразу тронулся с места. Стоял у карты, переводя взгляд с рубежа на рубеж, как переводят взгляд с одной могилы на другую — механически, без надежды.

— Странная война, — сказал он, скорее себе, чем Шмидту. — Без фронта. Без наступления. Без чести.

Шмидт безмолвствовал.

Среди густой сетки рек и мелких названий едва заметной чёрной точкой значился Златополь. Одна из сотен таких же точек — ни крупнее, ни мельче, ничем не отмеченная.

— Там живут люди, — сказал генерал. — Мужики, бабы, дети... Кони в хлеву. Картошку копают, если осень сухая. Варят борщ.

Шмидт, глядя в стену:

— Живут. До поры.

Два слова. Больше ничего. Но в них, как в капле полынного отвара, уместилась вся программа.

Генерал грузно выпрямился. Взял со спинки кресла фуражку. Мундир шершаво потянулся по швам.

— Ваш ход, фон Лееб. В эту войну я уже не играю. Я только ставлю подпись.

— Каждый делает своё, генерал. Ваше — учить нас прежней войне. Моё — готовить новую.

Фон Лоттвиц ничего не ответил. Двинулся к двери — шаг грузный, привычный, спина согбенная. Створка вошла в раму беззвучно, и только воздух чуть колыхнулся вослед.

В кабинете остался один.

Шмидт замер. На лице — ничего. Приблизился к столу. Подвинул папку так, чтобы она лежала точно посередине столешницы. Выровнял край — по-аптекаарски, как выравнивают лезвие перед тем, как резать.

Потом шагнул к карте.

Златополь. Мелкие буквы, чёрная точка. За ней — десятки улиц, огороды, кладбище с деревянными крестами, церковь с облупившейся штукатуркой, лавка, где считают каждую монету. Люди, которые просыпаются по утрам и думают о хлебе, о дровах, о детях, о ценах, и не знают, что их уже посчитали, занесли в графу, обвели карандашом.

Задержал взгляд на мгновение дольше, чем требовалось.

Отвернулся.

Где-то глубоко, за дубовой столешницей, за стенами кабинета, за пределами Берлина — невидимый механизм уже пришёл в движение, смазанный чернилами, подписями и золотом, зубчатый и безотказный, как мясорубка. Его колёса сцепились: распоряжение — шифрограмма — курьер — встреча в кафе — звонок в типографию — рулон бумаги — первые листовки. Механизм шёл теперь так же неостановимо, как медный маятник в углу, — и так же равнодушно к тому, что перемалывал.

До того дня, когда в далёком Златополе кто-то проснётся от того, что в ночи сразу и громко залают собаки.

И не будет знать, что они лают от крови.

Шмидт подошёл к окну. Посмотрел на калеку с тростью, который так и не дошёл до угла. Докурил. Затушил окурочок о подоконник.

Тик-так.

ГЛАВА 3. АДЛОН

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?»
Мк. 8:36

Дождь кончился четверть часа назад, но Берлин ещё не просох.

Коновалец шёл по Унтер-ден-Линден, прижимая локоть к боку — привычка, оставшаяся от кобуры, которой давно не было. Мокрый асфальт под ногами лежал чёрным стеклом, и в нём, перевернутый, жил другой город: фонари горели вниз, липы росли корнями вверх, силуэты прохожих двигались вверх тормашками — будто настоящий Берлин был там, под ногами, а этот, верхний, был только отражением.

Витрины дорогих магазинов светились янтарным золотом. Манекены за стеклом стояли в позах, которые должны были выражать беззаботность: рука на бедре, голова чуть набок, улыбка нарисованная, вечная. Ловушки для мотыльков. Кто-нибудь непременно остановится, прижмётся лбом к стеклу, вздохнёт — и войдёт.

Он не остановился.

По аллее тянулись автомобили с блестящими крыльями, рядом ещё звякали упряжью запоздалые конки. На афишной тумбе — женщина в перьях, буквы кричали о новом джазе, о забвении войны и Версаля хотя бы на пару часов. Бумага размокла, краска потекла, и лицо женщины расплылось, стало похоже на утопленницу.

Коновалец отвернулся.

В ноздри бил берлинский вечерний запах: бензин, мокрый камень, жареные каштаны с лотка на углу, чьи-то сладкие духи — всё чужое, всё не то. Тело помнило другие запахи, и они поднимались сами, незванные: смола на прикладе, цикорий из фронтового котелка, разбавленный почти до воды, и земля — чёрная, жирная, волинская, — пахнувшая домом, пахнувшая тем, что давно кончилось и уже не вернётся.

Стиснул зубы и прибавил шаг.

Отель «Адлон» вырос из мокрой темноты как каменный левиафан. Ряды светящихся окон — глазницы, за которыми шла своя, отдельная жизнь. Швейцар в ливрее с золотым шитьём открыл дверь, склонился — движение было отработано до механической безупречности, как ружейный приём на плацу. Только здесь вместо карабина — латунная ручка.

Коновалец шагнул внутрь — и стена жара ударила в лицо.

Полированное дерево, крепкий кофе, табак, и тот особый парфюм денег, который не выветривается десятилетиями. Воздух был густой, плотный, обволакивал, лез в ноздри, давил на виски. Ковры глушили шаг. Зеркала множили пространство, и в каждом отражении мелькали люди в вечерних костюмах, дамы с открытыми плечами, официанты в белых пиджаках, скользящие между столами, — весь этот мир, где ничего, кроме тарелок и бокалов, не существовало.

Всё здесь было устроено так, чтобы гость размяк, расслабился, почувствовал себя в безопасности. Глубокие кресла принимали тело, как объятия. Приглушённый свет убаюкивал. Музыка — невесомая, с американским привкусом — скользила по поверхности зала, как масло по воде, не проникая, не задевая, укрывая разговоры тонкой плёнкой звука.

Коновалец прошёл через фойе, как проходят незнакомый город на марше: считая выходы, просчитывая углы, отмечая зеркала, в которых видно то, что за спиной. Два выхода — парадный и служебный, через кухню. Зеркало слева, в простенке — обзор на весь зал. Угловой столик — мёртвая зона для чужих ушей.

Часы над стойкой портье показывали без четверти восемь.

Пришёл на пятнадцать минут раньше. Привычка офицера: кто приходит первым — тот выбирает позицию.

Но позиция была уже выбрана. Не им.

Столик в углу, под зелёным абажуром, чуть в стороне от самых людных мест. Рядом — оркестровая стойка: музыка закрывала паузы в разговоре надёжнее любой стены. Зеркало в простенке давало обзор на входную дверь. Кто-то выбрал это место грамотно. Кто-то, кто знал, чего хочет от этой встречи.

Коновалец сел.

Спина — прямая. Между ней и спинкой кресла осталось место для невидимого строевого устава. Край впивался в поясицу через пиджак. Руки легли на скатерть ладонями вниз — прохладный накрахмаленный лён, гладкий, как лёд.

Кресло приглашало откинуться, расслабиться, отдать ему тело. Он не откинулся. Это была его первая война в этот вечер — маленькая, незаметная, бессмысленная. Война с мебелью. С обволакивающим уютом. С негой, которая лезла под кожу, шептала: ты устал, перестань, здесь безопасно, здесь можно не держать спину.

Нельзя.

Осмотрел стол. Серебряные приборы, хрустальная ваза с цветком, карточка меню. Бело-снежная скатерть без единой складки.

И рядом, у ножки стола, — чемодан.

Коричневая кожа, чуть потёртая по углам. Латунные замки, потускневшие, но ещё блестящие в свете абажура. Совершенно обыкновенный: с таким выходят из отеля на вокзал коммерсанты и провинциальные адвокаты.

Коновалец скользнул по нему глазами — и взгляд пошёл дальше, к залу, к входной двери.

Он не задержался на чемодане.

Но чемодан задержался на нём.

Три минуты ожидания, руки на скатерти. За это время успел прочесть зал, как читают карту перед боем: огневые точки — зеркала; мёртвые зоны — ниши за колоннами; пути отхода — два, один через кухню.

Кто-то определил этот столик так, как определяют позицию для засады: обзор, прикрытие шумом, единственный подход — спереди.

Коновалец знал: тот, кто выбирает место, — тот ведёт разговор.

Он всё ещё считал, что это можно изменить.

Ярый появился ровно в восемь.

Не без минуты, не в три минуты девятого — секунда в секунду. Коновалец засёк это машинально, по стрелке часов над стойкой, и отметил про себя: точность не военная, а иная. Военный приходит раньше. Этот пришёл вовремя — как человек, который знает, что его будут ждать, и считает это нормальным.

Шёл через зал непринуждённо, не торопясь, слегка кивая кому-то за дальним столиком — может, знакомому, может, никому; жест был из тех, что создают видимость связей, даже если их нет. Светлые волосы зачёсаны назад, галстук аккуратный, костюм сидел безупречно, но без нарочитой роскоши — настолько хорош, чтобы не выделяться и не теряться. Человек-хамелеон: в этом зале он был таким же своим, как официанты и абажуры.

Коновалец встал — коротко, по-офицерски.

Рукопожатие. Ладонь Ярого оказалась сухой, крепкой, прохладной. Ни одного лишнего мгновения — пожал и отпустил, как щёлкнул замком.

И только потом, когда Ярый уже садился — откидываясь в кресле привычно, как акула в своих водах, — Коновалец заметил одну вещь.

На левой руке, между большим и указательным пальцем, — маленький белый шрам. Старый, зарубцевавшийся давно, почти незаметный. Не бытовой — глубокий, рваный, из тех, что остаются от ножа или осколка.

Значит, не всегда сидел в плюшевых креслах.

Ярый перехватил его взгляд и ничего не сказал. Только чуть повернул руку — ладонью вниз, — и шрам исчез в тени.

Устроился, огляделся — не вертя головой, а лишь пройдясь зрачками по зеркалам, по отражениям в стекле витрины. Привычка человека, который давно ходит по тонкому льду и привык первым замечать трещины. Потом повернулся к Коновальцу и улыбнулся.

Улыбка была ленивая, сытая. Улыбка человека, который знает, что в этом городе у него есть своё место.

— Рад, что вы нашли время, полковник, — сказал он по-немецки, вставив английское «schedule» там, где хватило бы немецкого слова. — Берлин сейчас — не самый удобный город для встреч. Каждый хочет куда-то ехать, всё торопятся.

Поднял руку, и официант возник мгновенно — материализовался из общего потока белых пиджаков.

— Два кофе, чёрный. Воду. И что-нибудь к кофе — на ваш вкус.

Сказал не Коновальцу — официанту. Но заказал за обоих. Мелочь, почти незаметная. Но Коновалец заметил: этот не спрашивает, чего хочет гость. Решает сам.

Официант кивнул, исчез. Через минуту вернулся с серебряным подносом: две чашки, графин воды, тарелка с пирожными. Идеально выглаженные манжеты, безупречный наклон корпуса, короткий поклон. Поставил, ушёл, растворился.

Ярый размешал сахар, звякнув ложечкой о фарфор.

— Берлин меняется, — заметил он. — Ещё пару лет назад здесь было, как бы сказать... грустнее. Деньги ничего не стоили, лица были серые. А сейчас посмотрите — повеселели.

Кивнул в сторону зала. Там действительно было весело: за дальним столиком хохотала компания, у стойки бара мужчина в смокинге рассказывал что-то даме, энергично жестикулируя, оркестр играл что-то бодрое, дробное.

— Штреземан своё дело знает, — добавил Ярый. — Экономика идёт вверх. Иностранные кредиты, стабилизация марки... Вы видели новый «Мерседес» у входа? Год назад такое здесь было невозможно.

Говорил небрежно, с удовольствием человека, который обсуждает чужие успехи, потому что считает их отчасти и своими.

Коновалец молчал.

Каждая фраза Ярого была гладкой, обтекаемой — речная галька: приятно держать в руке, но бросить не во что. Берлин, погода, Штреземан, «Мерседес». Светская плёнка, под которой не было ничего, кроме намеренной пустоты.

Ярый тянул время. Коновалец это чувствовал — нутром, как чувствуют засаду: не видя, не слыша, а кожей. Кто первым назовёт причину встречи — тот признает нужду. Светская болтовня — разведка боем: сколько собеседник выдержит, прежде чем заговорит о деле?

Ярый между тем развернулся к теме «Адлона»:

— Кухня здесь, кстати, пожалуй, лучшая в городе. Даже «Кемпински» уступает. Вы пробовали их «торте»? Шоколадный, с вишней, по австрийскому рецепту...

Рассуждал о торте так, будто это была самая важная вещь на свете. И в этой подчёркнутой ничтожности темы скрывался расчёт: показать, что никуда не торопится. Что время — его. Что он может позволить себе обсуждать десерт, пока собеседник сидит прямой, как штык, и считает минуты.

Шоколадный торт. С вишней. Коновалец вспомнил, как в восемнадцатом, после отступления от Львова, они двое суток ели мёрзлую репу, выковыривая её из земли штыками.

Мышцы челюсти напряглись. Нетерпение поднималось изнутри — горячее, едкое, — и он давил его, как давят тлеющую искру сапогом. Нельзя показать. Этот — заметит. Этот считает слабость, как борзая — запах крови.

Ярый отпил кофе. Поставил чашку. Чуть улыбнулся — с видом человека, которому очень хорошо и очень удобно.

Пауза.

Оркестр перешёл на медленную мелодию — что-то плавное, тягучее, будто кто-то наматывал тишину на катушку.

Ярый ждал.

Коновалец — ждал.

Семь секунд. Десять.

И сломался.

— Место неважно, — сказал он.

Голос был тихий, с едва уловимым южным оттенком — но в нём звякнуло железо.

— Важно, чтобы разговор прошёл без лишних ушей.

Произнёс это жёстко, отрубив фразу, как команду. И в ту же секунду почувствовал: ошибка. Сказал не потому, что решил перехватить инициативу, а потому, что не выдержал. Не выдержал этого торта, этого Штреземана, этой вежливой пытки пустословием.

Ярый чуть склонил голову.

— В этом отношении «Адлон» надёжен, — сказал он. — Здесь привыкли не задавать лишних вопросов. И персонал... проверенный.

Слово «проверенный» прозвучало обтекаемо. Как все слова, которые можно понять двояко.

Улыбнулся — той же ленивой улыбкой. Но в глазах мелькнуло другое. Быстрое, холодное, как блик на лезвии. И исчезло.

Он получил то, что хотел: Ковалец назвал тему первым. Признал нужду. Показал нетерпение.

Теперь Ярый знал, кто в этом разговоре ведущий.

Ковалец взял чашку. Фарфор был тонкий, почти невесомый — хрупкий настолько, что, казалось, сожми чуть сильнее — и рассыплется. Кофе пах горько, плотно, с привкусом жжёного зерна. Отпил. Вкус дорогой, чужой.

Чашка вернулась на блюдце. Ярый ждал.

— Я ценю вашу прямоту, полковник, — сказал Ярый, и в голосе его не было ни иронии, ни укора — только деловая ровность. — Тогда позвольте и мне — прямо.

Чуть подался вперёд, положив предплечья на стол. Расстояние между ними сократилось. Движение было небрежным, почти домашним, — но зона разговора сжалась, стала интимнее, и теперь каждое слово звучало тише, ближе, жёстче.

— У вас есть люди, — начал он. — Преданные, обиженные, готовые к борьбе. У них есть воля. Память. Злость. Они уже доказали, на что способны. Но у них нет одного.

Пауза. Не договорил. Дал собеседнику закончить самому — про себя, внутри, — и тем самым заставил произнести то, что тот не хотел произносить.

Ковалец не ответил. Но молчание это было уже ответом: он знал, о чём речь. Не было денег, оружия, каналов. Были горящие глаза, потрёпанные пиджаки, эмигрантские кружки, где собирали гроши, и слова, слова, слова — на конгрессах, в газетках, в прокуренных комнатах чужих городов.

— У вас нет ресурсов, — вполголоса закончил Ярый, — и нет шанса их получить самостоятельно. Ни Лондон, ни Париж вам не помогут — у них свои виды на Польшу, и ваш вопрос их не интересует. Варшава — ваш тюремщик. Москва — ваш враг. Остаёмся мы.

Произнёс «мы» просто, без нажима. Но в этом «мы» стояла Германия — со всей своей обидой, своей промышленностью, своей нерастраченной силой.

— Мы предлагаем не подарок, — продолжил он. — Совпадение интересов. У нас есть свои счёты — и к Варшаве, и к восточному соседу. У вас — свои. Логика проста: общий противник — общее дело.

Откинулся обратно, развёл руками — жест открытости, ничего не скрываю, всё на столе.

Коновалец смотрел на него, не моргая. Внутри — собранная, звенящая пустота: не спокойствие, а та особая тишина перед командой «огонь», когда мир сужается до прицельной планки.

— Шанс за чужой счёт, — произнёс он глухо. — В этом мире всё за чей-то счёт.

Ярый принял фразу без возражения — кивнул, принимая подачу.

— Именно. Ничего не даётся даром. Ни победа, ни поражение.

— Но одно дело — совпадение интересов, — Коновалец чуть подался вперёд, и голос его стал жёстче, — а другое — когда один сидит за столом, а другой стоит рядом с протянутой рукой.

Посмотрел Ярому в глаза — прямо, в упор, — как смотрят перед тем, как ударить.

— Вы хотите, чтобы мы стали частью вашей игры.

Это не был вопрос. Это было обвинение.

Ярый выдержал этот взгляд. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Только кисть левой руки — та, со шрамом — чуть шевельнулась на скатерти.

— Я хочу, — вкрадчиво ответил он, — чтобы вы нашли в нашей игре своё место. Не мы привели вас к этому столу, полковник. Вы пришли сами. Значит, вы уже решили играть. Мы лишь предлагаем стол. Фишки. И кое-какие правила.

Безмолвие. Оркестр за спиной играл что-то танцевальное — мелодия скользила по залу, бессмысленная и весёлая, как мыльный пузырь.

«Вы пришли сами.» Три слова. И крыть нечем.

Потому что — правда. Он пришёл сам. Написал через посредников. Согласился на встречу. Сел за этот столик, выбранный не им, и ждал пятнадцать минут, пока хозяин положения обсуждал шоколадный торт. Всё это означало одно: он проситель.

Но признать это — значит отдать последнее. Не деньги, не оружие — достоинство. То самое, которое держало его негнушующую спину, сжатые пальцы, офицерский голос.

— Правила обсудим, — сказал он ровно. — Но правила обсуждают равные. Если вы пришли нанимать батраков — вы ошиблись столиком.

Произнёс спокойно, без вызова. И в ту секунду поверил в собственные слова.

Ярый улыбнулся. Не широко — одними уголками губ. Улыбка человека, который слышал эту фразу много раз — от поляков, от прибалтов, от белорусов, от всех, кто приходил к этому столу.

Все говорили «равные».

Все потом брали чемодан.

— Разумеется, — сказал он. — Разумеется, равные. Иначе и быть не может.

И тут — без перехода, без паузы, тем же беспечным тоном, каким минуту назад рассуждал о Штреземане, — добавил:

— Кстати, как себя чувствует Роман Иванович? Я слышал, он перебрался из Праги. Женева, если не ошибаюсь? Тихий город, но для его... работы, пожалуй, удобнее.

Спросил между делом — как спрашивают о здоровье общего знакомого. Даже улыбнулся чуть шире.

Но имя, которое он назвал, было из тех, что знали единицы.

Роман Иванович — связной. Человек, чьё имя не произносилось вслух, чей адрес менялся каждые три месяца, чьё существование было тайной даже для большинства своих. Он

держал нити между ячейками в Галиции, переправлял почту, деньги, людей. О его переезде из Праги в Женеву знал сам Коновалец, один связной в Вене и — теперь выяснялось — кто-то в Берлине.

Коновалец не вздрогнул. Лицо осталось неподвижным — та же каменная маска, тот же прямой взгляд. Тело выдержало.

Но костяшки на скатерти побелели.

Они знают. Знают то, чего знать не должны. Знают о Романе Ивановиче, а значит — о маршрутах, о ячейках, о людях. Они не пришли на переговоры — они пришли с готовой картой. Его картой.

Контроль, который он чувствовал последние десять минут, — жёсткие ответы, прямой взгляд, «равные» — всё это было иллюзией. Как прямая спина в мягком кресле: ты думаешь, что сопротивляешься, а кресло просто ждёт, пока устанешь.

Ярый смотрел на него с тем же выражением дружелюбного интереса. Ждал ответа.

Коновалец разжал руки. Медленно. Скатерть под ними была мятой — пять вмятин, как от когтей.

— Роман Иванович чувствует себя хорошо, — ровно сказал он. — Благодарю.

Голос не дрогнул.

Но оба знали, что фехтование закончилось. И оба знали, кто выиграл.

Оркестр доигрывал мелодию — последние такты, рассыпчатые, как горсть мелких монет по мраморному полу. Потом — тишина. Скрипач опустил смычок. В наступившем безмолвии стало слышно, как за дальним столиком женщина смеётся, как звякнул бокал, как где-то на кухне уронили крышку.

И как молчат двое под зелёным абажуром.

Пауза между композициями длилась секунд пятнадцать.

Для зала — ничто. Передышка, глоток воды, ещё один взгляд в зеркальце.

Для двоих за угловым столиком — смена фазы.

Ярый заговорил первым. И сразу — другим голосом. Не тем, которым обсуждал кухню и Штреземана, и не тем, которым ронял имя Романа Ивановича. Третьим. Тихим, сухим, без единого лишнего обертона.

— Полковник, — сказал он, — мы оба знаем, зачем мы здесь. Вы хотите узнать, на что можете рассчитывать. Я хочу объяснить, на каких условиях. Давайте не будем тратить вечер на «равных» и «партнёров» — это красивые слова, но они не кормят и не стреляют.

Сделал паузу, провёл пальцем по краю блюда — медленно, по кругу, собирая невидимую крошку.

— Я скажу вам то, что мои работодатели сказали бы, если бы сидели на моём месте. Только они сказали бы это жёстче.

Коновалец не шевельнулся. Мышцы живота затвердели, как перед ударом в корпус. Так тело готовится принять то, что мозг ещё не хочет слышать.

— Политика, — сказал Ярый, — тоже промышленность, полковник. Только вместо угля и стали — люди и идеи. Вы производите одно. Мы обеспечиваем другое. Вместе — работающее предприятие. По отдельности — бесполезный склад.

Произнёс без злобы, без насмешки, без тени превосходства. Просто как факт.

И это было страшнее любой издёвки. Потому что издёвку можно отбить. Факт — нельзя.

— У тех, кого я представляю, — продолжил Ярый, — свой язык. Даже два. Они понимают язык цифр — расходы, результаты, сроки. И они понимают язык крови — то, что попадает в газеты, то, от чего вздрагивают в министерских кабинетах.

Склонил голову, словно извиняясь за грубость формулировки.

— Цифры они видят в отчётах. Кровь — в заголовках. Других языков они не знают. Манифесты, конгрессы, резолюции — для них это шум. Белый шум.

Тишина.

Оркестр всё ещё молчал. Зал жил своей жизнью: звон приборов, шёпот, чей-то далёкий смех. Но за угловым столиком звуки исчезли — воздух между ними загустел, став непроницаемым.

Коновалец молчал.

Должен был ответить. Должен был сказать: мы не сырьё. Мы не строка в вашем отчёте. Наши мёртвые — не заголовки.

Слова стояли в горле, готовые — правильные, горячие, честные слова.

Но он молчал. Потому что где-то внутри — глубже слов, глубже мысли, в том месте, куда он не пускал свет, — шевельнулось другое.

Облегчение.

Тёплое, почти физическое — словно кто-то снял с плеч тяжёлый мешок, который он нёс много лет. Наконец-то. Наконец кто-то сказал это вслух. Не он — другой. Кто-то сильный, уверенный, чужой. Ресурсов нет. Шансов нет. Романтика не кормит. Борьба без денег — не борьба, а агония.

Знал это давно. Годы носил в себе, как носят осколок, который нельзя вытащить, — слишком глубоко, слишком близко к сердцу.

Стыд пришёл мгновенно — жгучий, как ожог. Хлестнул изнутри, из-под рёбер, бросился к горлу.

Ты рад. Ты сидишь напротив человека, который только что назвал твоих людей сырьём, — и ты рад.

Задушил эту мысль — резко, жёстко, как душат гадюку: хватаешь за горло и держишь, пока не перестанет биться.

Но облегчение не ушло. Оно прилипло к стыду, как кровь к бинту.

И тогда — из глубины — всплыли лица.

Молодые. Мальчишеские. Тонкие шеи, горящие глаза, офицерские фуражки набок на стриженных головах. Его ребята. Те, кто шёл за ним под Крутами, под Львовом, на безымянных полях. Каждый из них умирал, веря, что это — ради будущего.

Никто из них не думал, что их смерть когда-нибудь станет «заголовком» в чужом языке.

Коновалец сжал челюсти. Привкус крови — прикусил щёку изнутри, не заметив.

Но тут же — следом, почти без зазора — другая мысль. Холодная, точная, безжалостная:

А ведь они погибли зря. Без денег, без поддержки, без будущего. Просто погибли — и всё. Кресты, если кто-то успел поставить. Их смерть ничего не изменила. Ни единой границы, ни единой строчки на карте.

А с деньгами — хотя бы —

Оборвал мысль. Выдрал, как выдирают корень больного зуба — с мясом, с хрустом.

Но она успела обжечь.

За соседним столиком толстый господин в модном жилете — красное лицо, мокрые губы, золотая цепочка часов поперёк живота — поднял руку и щёлкнул пальцами. Официант поднёс шампанское. Пробка хлопнула — резко, сухо.

Коновалец вздрогнул. Тело среагировало раньше мозга — на долю секунды он был не здесь, а там, где такой же хлопок означал совсем другое.

Пена побежала по горлышку. Дама с жемчужным ожерельем захлопала в ладоши, запрокинув голову. Толстяк разливал шампанское, пена текла ему на руки, он смеялся, не вытирая.

Хлопок.

Там — пробка и смех. В его голове — другой звук. Глухой. Далёкий.

Зал этого не услышит. Но люди в кабинетах услышат — в докладах и донесениях.

Коновалец медленно перевёл глаза обратно на Ярого.

— Это не товар, — сказал он. — Это земля, на которой лежат наши мёртвые. Они не сырьё и не строка в вашем отчёте.

Последняя линия обороны. Последняя стена, за которой ещё оставалось что-то, что он мог назвать собой.

Ярый помолчал — секунду, не больше. И в этой секунде было уважение. Настоящее или разыгранное — Коновалец не мог понять.

— Любая земля становится фабрикой, полковник, — обронил он, — если по ней достаточно раз пройти армиями. Историю пишут те, у кого есть деньги на перо и чернила. А народ идёт за тем, кто может его вооружить. При всём уважении.

«При всём уважении.» Три слова, после которых уважения не остаётся.

Что-то надломилось внутри. Тихо, без звука. Первая трещина на льду реки, по которой идёшь и не знаешь, что уже — нельзя.

Он не нашёл, что ответить. Не потому что не было слов — слова были: гнев, обида, правда, клятва. Целый арсенал. Но все они вдруг показались ему тем, чем их только что назвал Ярый. Белым шумом.

Между двумя мужчинами лежало молчание — плотное, тяжёлое. Ярый не торопил. Знал: молчание после таких слов работает лучше любого аргумента. Это время, в которое человек сам себя дожимает.

Коновалец не смотрел на Ярого.

Смотрел на чемодан.

Не скосил глаза, не бросил мимолётный взгляд — нет. Смотрел. В упор. Как смотрят на человека, который только что вошёл в комнату и сел без приглашения.

Чемодан стоял у ножки стола — там же, где с самого начала. Коричневая кожа, потёртые углы, латунные замки. Ничем не примечательный.

Но теперь Коновалец видел его иначе.

Этот чемодан стоял здесь, когда он вошёл. Ярый пришёл с ним. Не принёс в середине разговора, не послал за ним — поставил заранее, до встречи, рядом с выбранным столиком, как ставят стул для гостя, которого ждут наверняка.

До встречи. До «равных», до «партнёрства», до фехтования, до Романа Ивановича. До того, как Коновалец сказал хоть слово. Чемодан уже стоял.

Потому что ответ был известен заранее.

Это не были переговоры. Не было двух сторон, прощупывающих друг друга, торгующихся, ищущих баланс. Был один человек, который пришёл с готовым решением, и другой, который проходил процедуру, принимая это решение за своё.

Собеседование. На должность, на которую его уже назначили.

Интересно, подумал Коновалец, сколько раз Ярый проводил эту процедуру? С поляками? С прибалтами? С белорусами? Все они, наверное, тоже говорили «равные». Тоже держали спину.

А чемодан уже стоял у стола.

Зависть вспыхнула — короткая, злая, обжигающая. Каково это — быть Ярым? Не прятаться по чужим городам, не выпрашивать через посредников, не считать гроши из эмигрантских кружек. Знать заранее, что человек напротив согласится, — и ждать, когда он сам это поймёт.

Мерзость. Зависть — к посреднику? К торговцу чужими жизнями?

Раздавил мысль — быстро, брезгливо.

Но она успела укусь.

Тело знало.

Руки знали. Они уже готовились поднять этот чемодан. Ладони помнили форму ручки, хотя ещё не касались её. Мышцы плеча уже прикидывали вес. Тело приняло решение раньше,

чем мозг успел его сформулировать, — где-то в глубине, где нет слов и нет оправданий, где работает только голый расчёт выживания.

Коновалец ещё сидел прямо. Ещё держал спину. Ещё думал, что выбирает.

Но выбор был сделан — давно, может быть, ещё до того, как он вышел на мокрую берлинскую улицу. Может быть, ещё в Париже, когда писал письмо через посредника. Может быть, ещё раньше — в тот день, когда понял, что проиграл войну.

Всё остальное — фехтование, «равные», гордость, даже стыд — было лишь декорацией, через которую он шёл к этому чемодану, как по коридору.

Ярый молчал. Видел, куда смотрит Коновалец. Видел — не мельком, а в упор.

И в этот момент — один момент, не больше — что-то изменилось в его лице. Не сочувствие. Но нечто родственное. Узнавание. Он видел этот взгляд раньше — у других, за другими столами, в других городах. Взгляд человека, который понял, что решение принято за него, и теперь пытается присвоить это решение, назвать его выбором.

Левая рука Ярого лежала на столе. Он потёр рубец между большим и указательным — медленно, машинально.

Секунда. Потом — снова маска.

— Полковник, — произнёс он приглушённо. — Время.

Одно слово. Не «решайтесь», не «ну что скажете». Просто — «время». Напоминание: часы тикают. Не только в зале.

Оркестр вступил снова — что-то дробное, танцевальное. Зал ожил, волна обычной жизни хлынула обратно, заполняя пустоту.

Но под зелёным абажуром пустота осталась.

Коновалец оторвал глаза от чемодана. Посмотрел на Ярого — так же, как в начале вечера, когда ещё верил, что ведёт разговор.

Но глаза были уже другие.

— Хорошо, — сказал он.

Слово вырвалось коротко, жёстко — выстрел в упор.

— Я понял ваши условия.

Воздух за столом изменился — стал плотнее, словно между ними легла стеклянная стена. Ярый чуть выпрямился — единственный раз за весь вечер. Едва заметно, на полдюйма. Хищник почуял, что добыча перестала бежать.

Коновалец заговорил первым — и это тоже было частью капитуляции, хотя он назвал бы это иначе.

— Мы сделаем, что нужно, — сказал он.

Голос был глухой, как звук камня, упавшего на дно колодца.

— Не потому, что вы этого хотите. Потому что у нас нет другого пути.

Пауза. В ней уместились все слова, которые он не мог произнести: что он ненавидит этот стол, этот кофе, этот зал, этого человека напротив и — больше всего — себя самого за то, что сидит здесь и говорит «да».

— Но я буду помнить, — добавил он, — что за каждым вашим чемоданом стоят наши могилы.

Последний жест человека, который подписывает капитуляцию и хочет хотя бы оставить на полях записку: я знал, что делаю. Я не слепой. Я — вынужден.

Ярый выслушал. Не кивнул, не улыбнулся. Впервые за весь вечер его лицо было неподвижным — ни маски, ни игры. Принимал эти слова так, как принимают последнее условие перед подписанием контракта: выслушать, отметить, двигаться дальше.

— Я передам, что вы готовы к серьёзной работе, — сказал он. — Следующая встреча будет уже не в кафе. Там и обсудим детали.

Пауза. Короткая, деловая.

Опустил глаза к чемодану. Потом — обратно к Коновальцу. И кончиком ботинка подвинул чемодан вперёд — через ковёр, по-над ножкой стола, — пока тот не встал посередине между ними.

— Возьмите, полковник. Это не подарок. Это инструмент.

Коновалец наклонился.

Пальцы коснулись ручки. Кожа была гладкая, нагретая — от близости тел, от зала, от ламп. Ручка легла в ладонь удобно, будто была отлита по мерке его руки.

Поднял.

Вес — значительный, но не чрезмерный. Килограммов пять, может шесть. Физика. Арифметика.

Но рука налилась другой тяжестью. Она пришла не снаружи — изнутри. Поднялась из живота, прошла через грудь, влилась в плечо, стекла по предплечью в ладонь и там осталась — тёмная, плотная, как ртуть.

Власть.

В этом чемодане лежала сила послать человека на смерть — не словами, не верой, не призывами, а конкретно: вот деньги на оружие, вот деньги на документы, вот деньги на билет в один конец. Такой силы не было в его руках с восемнадцатого года. С тех пор, как всё рухнуло, и он стал тем, кем стал: эмигрант, проситель, человек, живущий на чужие гроши в чужих городах.

А теперь — вот. Снова. Ручка в ладони. Вес в руке.

Хватка сжалась крепче. Сама. Без приказа.

И он понял — с ледяной, хирургической ясностью — что хочет этот чемодан. Хочет не за Украину. Не за ребят. Не за землю. За себя. За то, чтобы снова что-то значить.

Отвращение ударило в лицо — горячее, мокрое, как плевок.

Переложил в левую руку. Тяжесть перетекла следом, осела под рёбрами, свернулась там, устроилась. Никуда не делась.

— Благодарю за доверие, — сказал он.

Формальные слова. Слова деловой сделки.

Встали одновременно. Рукопожатие. Ладонь Ярого — та же, что в начале: сухая, крепкая, прохладная. Но в последнюю секунду — когда руки уже расходились — хватка Ярого чуть задержалась. На долю секунды. Не теплота — фиксация. Так ставят печать: прижал, подержал, отпустил.

Готово.

Коновалец двинулся к выходу. Не оглянулся. Шёл через зал — мимо столиков, где звенели бокалы, блестели украшения, плыл табачный дым. Оркестр играл что-то стремительное — скрипка захлёбывалась, кларнет подгонял, — и люди вокруг жили своей жизнью, не подозревая, что мимо них проходит человек с приговором в руке.

Не его приговором. Чужим.

Швейцар распахнул дверь. Холодный воздух ударил в лицо. За спиной стеклянные двери сомкнулись — и музыка обрезалась, как ножницами.

Берлин стемнел окончательно.

Фонари горели ярче, чем час назад, — жёлтые, резкие, они вырезали из темноты куски мостовой, углы домов, лица прохожих и тут же отпускали их обратно во мрак. Час назад этот свет казался уютным. Теперь — хирургическим.

Коновалец стоял на тротуаре перед «Адлоном».

Мокрый асфальт лежал под ногами чёрным зеркалом. Тот же перевернутый город — фонари вниз, липы корнями вверх. Только теперь в этом зеркале было ещё одно отражение: человек с чемоданом.

Воздух был влажный, холодный. После душного зала он должен был принести облегчение — но не принёс. Лёгкие приняли его тяжело, нехотя, разучившись дышать на улице.

Во рту — горечь. Металлическая, липкая. Та самая, что появилась ещё за столом и не ушла. Сглотнул. Слюны не было. Только привкус — как от старой медной монеты, которую долго держали в кулаке.

Далеко за крышами глухо простонал поезд. Длинный, тоскливый звук — куда-то ехали люди, куда-то ехали грузы, куда-то ехала чья-то жизнь. Потом стихло.

Витрины горели тем же янтарным золотом. Те же манекены, те же позы, те же нарисованные улыбки. Ловушки для мотыльков.

Только теперь он знал, каково это — войти.

За стеклянными дверями «Адлона» по-прежнему играла музыка — далёкая, приглушённая, как из-под воды. Там звякали бокалы, ели шоколадный торт с вишней и обсуждали новый «Мерседес». Там жили люди, для которых этот вечер был просто вечером.

Здесь — мокрый камень, темнота и тяжесть в руке.

И — облегчение.

Оно пришло неслышно, как приходит жар от печи в промёрзшей избе: сначала не чувствуешь, потом — вдруг — всё тело обмякает, и ты понимаешь, что дрожал, а теперь перестал.

Решение принято. Всё. Можно больше не мучиться. Не спорить с собой, не искать слова, не держать спину. Можно просто идти.

Ненавидел себя за это облегчение — тихо, устало, без жара. И одновременно цеплялся за него, как за поручень над пропастью: больно руке, содрана кожа, но отпустить — нельзя.

Потому что под ним — пустота. А пустота хуже стыда.

Пошёл.

Шаги гулко стучали по мокрому камню — размеренно, чётко. Офицерский шаг, вбитый в кости: тело помнило строй, даже когда строя не было.

Так душа строит стены из оправданий, чтобы не видеть, что делают её руки.

Коновалец не знал — или не хотел знать, — что в этот вечер он перестал быть командиром. Стал подрядчиком. Исполнителем чужого заказа, который сам себе говорит, что всё ещё командует.

Чёрное зеркало асфальта отражало его шаг за шагом — тёмный силуэт с чемоданом, уходящий в берлинскую ночь. Фонарь осветил его, отпустил. Следующий — осветил, отпустил. Конвоиры, передающие арестанта по этапу.

На углу остановился. Не потому что хотел оглянуться. А потому что ноги встали сами — тело, видимо, ещё надеялось, что можно развернуться, пойти обратно, поставить чемодан на пол и сказать: нет.

Постоял секунду. Две.

Потом пошёл дальше.

Чемодан в его руке был тяжёлым. Но не так тяжёл, как знание, от которого он бежал всю дорогу до угла. И не так невесом, как то тайное, стыдное, греющее облегчение, которое он нёс вместе с ним.

Облегчение человека, который наконец-то перестал сопротивляться.

Он не знал — да и не мог знать, — что в этот самый час, когда его фигура растворилась в мокрой тьме Унтер-ден-Линден, в тысяче вёрст к востоку, в городе, который спал под другим небом и просыпался под другие гудки, — его шаги уже были сочтены.

В Москве, в сером здании с облупленной штукатуркой, где пахло махоркой и сырыми шинелями, горел свет. Там, на третьем этаже, молодой человек с рано поседевшими висками перелистывал страницы расшифрованного донесения. Строчки прыгали перед глазами, но он уже видел то, что скрывалось за ними: берлинский отель, столик под зелёным абажуром, коричневый чемодан у ножки стула.

Нити сходились. Узел затягивался.

Коновалец нёс чемодан в берлинскую ночь, не зная, что его содержимое уже взвешено, измерено и занесено в реестр — в том самом кабинете, где сейчас гасили свет, чтобы через несколько часов зажечь его снова.

ГЛАВА 4. ДОСЬЕ «ЭМИГРАНТЫ»

В ноябре 1926 года Контрразведывательный отдел ОГПУ возглавлял Артур Христианович Артузов — один из создателей советской тайной войны, архитектор операции «Трест». К этому времени «Трест» — многолетняя игра против белоэмигрантского подполья — вошёл в критическую фазу: польская дефензива начала проверку, и любая утечка могла обрушить пятилетнюю конструкцию. Именно в этот момент неизвестный аналитик принёс в кабинет на Лубянке папку с грифом «Эмигранты». О том, что было дальше, история предпочла умолчать.

Пока Коновалец шёл по мокрому берлинскому асфальту, сжимая ручку чужого чемодана, в Москве рассветало.

За сотни вёрст от «Адлона», за линией Збруча, где ещё спали люди, не знавшие, что их судьба уже решена в тихих кабинетах, — в сером здании на Лубянке светилось окно третьего этажа.

Там тоже не спали. Там тоже читали донесения. И там тоже готовились к войне, о которой газеты пока не писали.

Москва за окном была цвета нестиранной солдатской гимнастёрки — серая, промозглая, с привкусом НЭПа. Рядом с пролетарской кепкой мелькал буржуазный котелок; под вывесками частных лавочек стояли патрули с винтовками. По брусчатке скрипели трамваи. Редкие прохожие спешили, поднимая воротники. В воздухе пахло сыростью, дымом из заводских труб и той утренней тревогой большого города, который ещё не до конца поверил в мир.

В кабинете на третьем этаже пахло крепким, застоявшимся за ночь чаем и едким табачным дымом папирос «Дели». Никаких дубовых панелей, никакого лакированного паркета — казарменная, функциональная нагота: сейф, выкрашенный масляной краской, стол под зелёным, местами прожжённым сукном, чёрная эбонитовая пасть телефона внутренней связи.

За столом сидел Артур Христианович Артузов.

Лицо его — жилистое, с глубокими складками у рта — было лицом человека, который заменил сон короткими провалами в небытие на жёстком диване. Глаза красные, будто протёрты наждаком. Но взгляд точный — как скальпель перед операцией. Он держал папиросу большим и указательным пальцем, прикрывая огонёк ладонью: старая привычка прятать огонь от ветра, которого здесь не было и быть не могло.

На столе перед ним высилась стопка папок — толстых, перевязанных шпагатом, с грифом «Секретно»: «Трест», «Дальневосточная резидентура», «Внутрипартийная оппозиция». Три фронта невидимой войны, каждый из которых мог стоить не просто карьеры — головы.

Дверь открылась без стука.

Вошёл Андрей Николаевич Белов. Старший уполномоченный ИНО ОГПУ. Двадцать шесть лет — но выглядел старше: рано поседевшие виски, тонкие морщины у глаз. Простая гимнастёрка без знаков различия. Лицо гладко выбрито. Глаза серые, пыльные — ничего не выражали: ни тревоги, ни усталости, ни нетерпения. В руках — тонкая серая папка.

Артузов поднял голову. Не предложил сесть.

— Ты рано, — бросил хрипло. — Или не ложился?

— Работал, Артур Христианович. — Голос без интонаций. Белов подошёл к столу, положил папку. — Нужно говорить.

Артузов глянул на папку. Не взял. Прищурился.

— У меня три приоритета горят. — Каждое слово — удар молотка. — «Трест» трещит по швам, англичане почуяли подставу. На Дальнем Востоке японцы лезут в Маньчжурию — неизвестно, куда повернут дальше. А троцкисты готовят новый демарш, и если прозвеем — партия расколется.

Артузов резко встал. Отошёл к окну. Повернулся спиной к Белову, глядя на серую Москву.

— И ты приходишь с четвёртым фронтом?

Белов не шелохнулся. Только щека чуть дёрнулась — едва заметный тик, след тех лет, когда он был не Беловым, а восемнадцатилетним студентом в киевских переулках, где власть менялась каждую неделю.

— Не четвёртым, — тихо. — Главным.

Артузов обернулся. Звук, вышедший из его горла, был коротким, почти презрительным.

— Главным? — Вернулся к столу. Сел. Достал из пепельницы недокуренную папиросу, затушил — ровно наполовину. Привычка экономить, оставшаяся с голодных лет. — Белов, я тебя ценю. Ты думаешь. Много думаешь. Но умные головы иногда видят то, чего нет. Паранойя — профзаболевание аналитиков.

— Это не паранойя.

— Докажи.

Тишина. За окном прокричал трамвай на повороте. Где-то внизу хлопнула дверь. Часы на стене — простые, в дешёвом деревянном корпусе — отбивали секунды.

Белов развязал тесёмки. Движение резкое, точное — так разрывают перевязочный пакет перед жгутом.

— У нас нет людей. — Артузов снова на ногах. Барабанит пальцами по краю стола. — Нет денег. Нет времени. Я не могу снять оперативников с «Треста» ради твоих... — пауза, — ...гипотез.

— Это не гипотеза. — Белов выложил первый документ. Тонкая папиросная бумага, испещрённая мелким шифром. — Это диагноз.

Артузов остановился. Подошёл к сейфу. Достал другую папку — толстую, перевязанную красной тесьмой. Развернул на столе.

— Фактура, говоришь? — Ткнул пальцем в свои листы. — Вот фактура. «Трест». Три года водим за нос белоэмигрантов. Савинков поверил, Кутепов поверил. А теперь англичане начали проверять. Если они раскусят — мы потеряем не десяток боевиков в Галичине. Мы потеряем главную игру.

— Эта игра — на год. Может, на два. — Белов жёстче. — А то, что я принёс, — на десятилетие.

Артузов сощурился.

— Берлин. Прага. Галичина. — Белов перечислял, как читал приговор. — Мы считали их разрозненными искрами. Теперь я вижу: это бикфордов шнур.

— И он уже горит? — перебил Артузов.

— Да.

— Доказательства?

Белов выложил вторую бумагу. Потом третью.

— Берлин — деньги. Прага — идеология. Галичина — кровь.

Артузов потянулся за новой папиросой. Пламя спички на мгновение осветило лицо Артузова в глубоких складках.

— Прагу я знаю. — Выдохнул дым. — Эмигрантское кубло. Болтуны и пьяницы. Галичину тоже знаю — польская провинция, бандиты режут почтальонов. — Прищурился. — При чём тут Берлин?

— При том, что деньги идут оттуда. — Белов развернул первый лист — таблица сумм, даты, маршруты. — А где деньги — там цель. Где цель — там план. Немцы не бросают марки на ветер.

Артузов взял лист. Пробежал глазами. Усмехнулся.

— У немцев сейчас своих проблем выше крыши. Версаль душит. Репарации. Французы оккупировали Рур. — Бросил лист обратно. — Какие украинские игры?

— Долгие. Они не играют на год.

Артузов встал у окна. Изучал карту в молчании.

— Хорошо. — Не оборачиваясь. Голос усталый, но в нём появилась острота. — Допустим, я слушаю. Но ты должен дать мне не теорию. Факты. Имена, суммы, маршруты. — Обернулся. Впился взглядом. — Ты хочешь, чтобы я отдал тебе лучших людей на борьбу с призраками?

Белов наклонился вперёд, положил ладони на стол.

— Призраки не режут почтальонов, Артур Христианович. — Тихо, но каждое слово как удар. — Это сделали позавчера. В двадцати километрах от нашей границы.

— Бандитизм. Обычный послевоенный.

— Нет. — Белов вытащил из папки фотографию. Мутный снимок, сделанный полевым агентом. Тело у придорожного столба. Лужа крови на снегу. — Не обычный.

Он выложил вторую фотографию.

— А эта — вчера. Сожгли хату. Семья продала хлеб советскому кооперативу. На нашей стороне границы — но нити тянутся за Збруч.

Артузов взял снимок. Рассматривал долго, не моргая. Лицо не изменилось — но что-то дрогнуло в глазах.

— Заживо. — Белов добавил. — Четверо детей.

Тишина. За окном напоззла туча. Кабинет потемнел.

Артузов поднял голову.

— Это террор. Целенаправленный. — Белов провёл пальцем по краю стола. — Они не грабят. Они учат людей бояться нас. Ненавидеть всё, что с нами связано. — Пауза. — Это не анархия. Это педагогика. Педагогика ненависти.

Тик-тик-тик — пальцы Артузова по столешнице. Единственный жест, выдававший напряжение.

— И ты думаешь, это немцы?

— Я знаю. Только не в форме. В штатском. Через посредников. Через эмигрантов, которых выращивают, как бактерии в лаборатории. — Постучал пальцем по папке. — Дайте мне час. Один час. Я покажу вам всю цепь. От Берлина до этой лужи крови.

Артузов встал. Снова повернулся к окну. Молчание растянулось, как жила перед разрывом. Часы тикали.

Наконец обернулся.

— Час. — Приговор. — Не минутой больше. Если ты не убедишь меня — если я пойму, что это твоя личная война с призраками прошлого, — я закрою эту тему. Навсегда. — Вернулся к столу. Отодвинул папку «Трест» в сторону. — Начинай. Анатомию давай. Вскрывай.

Белов кивнул. Развернул папку.

И началась операция.

Белов подошёл к карте Европы. Расчерченная красными и синими линиями невидимых фронтов, она висела над столом как немой приговор. Он достал из кармана три булавки с флажками. Красная. Синяя. Чёрная.

— Точка первая. — Втыкает красный флажок в Берлин. — Войсковое управление. «Труппенамт». Официально — бюрократы без армии. Версаль запретил немцам иметь генштаб.

— Это я знаю. — Артузов поднялся, подошёл к карте. — Дальше.

— Украинским направлением там занимается некто Ганс-Дитрих фон Лееб. Псевдоним — Шмидт. — Белов выложил шифровку. — Последние полгода его отдел получил резкое увеличение финансирования.

— Насколько резкое?

— Втрое. С пятидесяти тысяч марок до ста пятидесяти.

Артузов тихо присвистнул.

— Откуда деньги? Германия в кризисе.

— Через «Стальной шлем». Союз фронтовиков. — Белов провёл пальцем по строчке цифр. — Их спонсируют промышленники. Круппы. Тиссенсы. Те, кто хочет вернуть Германии статус великой державы.

— Мечтатели.

— Инженеры. — Белов шагнул к карте вплотную. — Шмидт — не романтик-реваншист. Это аналитик старой кайзеровской школы. Он не хочет брать Киев танками. Пока. Он хочет вырастить там своих людей — так, чтобы, когда придёт час, они сами открыли ворота.

— На какой час?

— На следующую войну.

Пауза. Артузов вернулся к столу. Сел. Вертел папиросу в пальцах — не закурил.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно. — Белов положил руку на карту. — Версальский договор — не мир. Это перемирие на двадцать лет. Немцы это понимают. Французы понимают. Мы обязаны понимать. И Шмидт готовится.

Артузов чиркнул спичкой. Закурил. Тик-тик-тик — пальцы по краю стола.

— Допустим. Но при чём тут Украина? У них Польша под боком. Данциг. Силезия. Зачем им лезть в нашу сферу?

Белов приблизился.

— Потому что Украина — это ключ. Тридцать миллионов населения. Житница. Уголь Донбасса. Металл Кривого Рога. — Обернулся к Артузову. — Тот, кто контролирует Украину, контролирует весь Восток. Шмидт это понимает. Поэтому он вкладывается не в танки — в головы. Он покупает не землю. Идею. Идею, которая превратит украинцев в наших врагов.

— Идею. — Скептически. — Ты же знаешь, сколько там националистов по тюрьмам сидит? Жалкие остатки петлюровщины. Крестьянам плевать на трезубцы.

— Сейчас плевать. — Белов согласился. — Но это меняется.

Воткнул синий флажок в Прагу.

— Вторая точка. Прага. Мы считали их просто болтунами.

— И?

— Ошибка. — Выложил брошюру. Дешёвая серая бумага, кричащий заголовок с трезубцем. — Олесь Крук. Один из сотни эмигрантов, осевших в пражских кафе — там, где старая Европа доживает свой век в споре идей.

Артузов взял брошюру. Глянул на обложку, как на дохлую крысу.

— Каждый второй эмигрант теперь писатель.

— Крук — не писатель. Он переводчик.

— Чего? Французских романов?

— Европейского фашизма. — Белов перегнулся через стол, ткнул пальцем в строчку. — Смотрите. «Украина — це нація панів. Воля до влади. Право сильного». — Выпрямился. — Это уже не петлюровская романтика про «вільну Україну». Это Ницше для хутора. Муссолини в вышиванке.

Артузов читал. Молчал. Глаза сузились.

— Философия. Бумага. Кого это волнует в Галичине, где люди с голоду пухнут?

— Молодёжь.

— Почему?

— Потому что Крук пишет не для крестьян. — Белов обошёл стол. — Он пишет для их сыновей. Тех, кто вернулся с фронта и не нашёл места. Тех, кто злится — на поляков, на

евреев, на большевиков, на весь мир. — Остановился у окна. — Он даёт им не просто обиду. Он даёт право ненавидеть. Право убивать. И облакает это в красивые слова про «волю нації».

Артузов подошёл. Встал рядом.

— Идеи заразны. — Белов тише. — Один умный фанатик с пером опаснее десяти бандитов с винтовками.

— Может быть. — Задумчиво. — Но идеи не стреляют. Для стрельбы нужны деньги. Оружие. Люди.

— Вот именно.

Белов вернулся к карте. Воткнул чёрный флажок.

— Третья точка. Златополь. Польская провинция. Голод. Безземелье. Польские жандармы. — Обернулся. — Идеальная питательная среда. И туда начали поступать деньги.

Высыпал на стол несколько мятых банкнот. Доллары. Злотые. Марки.

Артузов поднял одну купюру. Поднёс к свету.

— Валюта разная. Источник один. — Берлинские марки конвертируются через Швейцарию. Проходят через Прагу. Оседают в Златопольском и других уездах Галичины. — Белов перечислял бесстрастно, как диктуют опись.

— На что идут?

— На агитацию. На структуру. Боевую. Тройки. Пятёрки. Военная организация — вербуют молодёжь, обучают, вооружают, создают подполье. — Белов сжал пальцы за спиной до боли. — Сегодня это десятки боевиков. Завтра — сотни. Через пять лет — армия в нашем мягком подбрюшьи.

Артузов резко подошёл к карте. Протянул руку. Коснулся чёрного флажка.

— Суммы?

— Только через один швейцарский канал — около ста тысяч марок. На эти деньги можно содержать сотню боевиков год. Или купить полбатальона. Или подкупить десяток чиновников на ключевых постах.

Артузов обернулся.

— Значит, не шутят.

— Не шутят.

Тишина. Трамвай за окном. Часы.

Артузов вернулся к столу. Взял карандаш — простой, заточенный до иглы. Начертил на листе треугольник: Берлин — голова. Прага — язык. Галичина — кулак.

— А Коновалец? Его берлинские встречи. Чемоданы с марками. Это та же линия?

— Та же. Но Коновалец — фигура крупная, с именем, за ним следит КРО. — Белов постучал пальцем по чёрному флажку. — Наша задача — другая. Низовая сетка. Те, кого Коновалец кормит этими деньгами. Те, кто на местах превращает марки в кровь.

— Поляки? — Артузов, не отрываясь от карты. — Куда смотрит «Двуйка»? Это у них под носом.

— Поляки слепы. У них гонор. Считают, что полонизируют этот край силой. Думают — обычный бандитизм. — Пауза. — А когда поймут, что это рак, метастазы уже пойдут к нам. Через Збруч.

— Златополь — это не столица эмиграции. — Белов продолжил. — Это полигон. Там обкатывают методы. Растят кадры. Оттуда потом пойдёт зараза дальше. На восток.

Артузов обернулся. Тяжёлый взгляд.

— Красиво. Логично. — Вернулся к столу. Сел. Сложил руки. — Но, Белов, я задам тебе вопрос. — Прищурился. — Откуда такая уверенность? Ты аналитик. Работаешь с бумагами. С цифрами. Но сейчас ты говоришь не как аналитик. Ты говоришь как человек, который видел это. Лично.

Щека Белова дёрнулась. Тик. Резкий, как удар хлыста.

Артузов встал. Подошёл вплотную. Сложил руки на груди.

— Ты умный. Образованный. Ты читал Фрейда, я знаю. И ты понимаешь, что человек, переживший травму, видит её повсюду. Проецирует. — Голос стал жёстче. — Это не обвинение. Это механизм психики.

Наклонился ближе. Почти шептал.

— Так вот мой вопрос: а вдруг это твой личный кошмар? Киев. Девятнадцатый год. Станция. Может, ты видишь ту банду «зелёных» в каждом украинском националисте? Может, ты ищешь хаос там, где его ещё нет?

Тишина. Тяжёлая. Давящая.

Белов молчал. Щека дёрнулась — раз, другой. Тик усилился. Руки вдоль тела. Артузов не торопил. Ждал. Тик-тик-тик — пальцы по столешнице. Минута растянулась, как резиновый жгут.

Капкан. Фрейд. Проекция.

Холод разлился в затылке. Вдруг правда? Вдруг это — станция? Девятнадцатый год кричит из меня, а я не слышу?

Нет. Стой. Я не вижу призраков. Я считаю. Цифры. Марки. Сто тысяч. Швейцария. Берлин. Прага. Это не в голове. Это на карте. На бумаге.

Но считает травмированный человек. Может, я подгоняю цифры под страх?

Нет. Лужа крови на снегу. Четверо детей. Сгоревшая хата. Это не призрак. Это вчера. Фотография в папке. Можно пощупать.

Я боюсь. Да. Но именно потому, что боюсь, — не имею права ошибиться.

Тик на щеке замер. Дыхание выровнялось.

— Артур Христианович. — Белов наконец заговорил. Голос ровный, но с усилием. — Это не проекция.

— Докажи. — Артузов жёстко. — Не мне. Себе. Скажи мне честно, здесь, без свидетелей: ты боишься или ты знаешь?

Белов молчал. Трамвай за окном. Пять секунд. Десять. Двадцать.

Он впился взглядом в чёрный флажок, воткнутый в слово «Златополь».

И его накрыло.

Девятнадцатый год. Станция. Июль. Жара. Восемнадцать лет. Вокруг беженцы — старики, женщины, дети. А потом — гул. Топот копыт. «Вольні козаки». «Вільна Україна». Слова красивые. Под ними — зверь. Начальника режут у телеграфа — «москаль». Женщину волокут в товарный вагон. Она кричит. Потом перестает. Бумаги горят чёрными хлопьями. И они смеются — пьяно, зверино.

Я стоял у стены пакгауза. Перочинный нож в кармане. Жалкий — против сабли. Я не мог ничего.

Он очнулся. Руки дрожали — еле заметно. Сжал их в кулаки.

— Я знаю, Артур Христианович. — Голос звучал иначе — не ровно, а с надрывом. — Не боюсь. Знаю.

Шагнул к столу. Положил руки на зелёное сукно.

— Потому что я видел, как это начинается. Сначала — красивые слова. «Воля». «Нация». «Свобода». Потом — ножи. Потом — кровь. Потом — пепел.

Артузов не шевелился.

— Да, я пережил девятнадцатый год. — Белов выдохнул. — Да, я видел хаос. Но я не проецирую его на карту. Я считаю. Деньги. Имена. Структуру. Это не призраки в голове. Это реальные люди, которые режут реальных почтальонов.

Пауза.

— И да, я боюсь. — Тише. — Боюсь, что моя дочь увидит то, что видел я. Боюсь, что она проснётся однажды утром, услышит топот на лестнице, крики — и поймёт, что государства больше нет.

Голос стал жёстче.

— Но этот страх не делает мою работу ложной. Он делает её необходимой.

Артузов отступил на шаг. Долго смотрел на Белова. Не на аналитика. На человека.

— У нас есть пять лет. Может, десять. — Белов подошёл к карте. Провёл ладонью от Берлина к границе. — Шмидт не спешит. Он растит войну. Кормит её деньгами, идеями, ненавистью. Сегодня — сотня боевиков. Завтра — тысяча. Послезавтра — десятки тысяч, которым годами объясняли: граница через Збруч — это граница между своими и чужими.

Обернулся.

— Если мы не вскроем эту сетку сейчас, когда Германия встанет на ноги, мы получим не просто врага на западе. Мы получим линию фронта внутри страны. Там, где сейчас ещё можно погасить искру — потом будет пожар.

Артузов подошёл к столу. Сел. Изучал треугольник, начерченный на бумаге. Молчание. Потом поднял голову.

— У тебя ведь дочь, Белов?

Белов замер. Пауза легла на кабинет, как мокрая шинель.

— Два года. — Голос не дрогнул, но пальцы сжали край стола. — Катя.

Артузов кивнул. Непроизвольно коснулся кармана гимнастёрки. Достал потёртую фотографию — мальчик лет пяти, в матроске.

— Мишка. Шесть лет. — Рассмотрел снимок. Убрал обратно. — Продолжай.

Белов выдохнул.

Артузов встал. Подошёл к окну. За стеклом туча разошлась. Луч солнца пробился сквозь серость — упал на карту, осветил чёрный флажок.

Артузов обернулся. Подошёл к Белову. Вплотную. Положил руку ему на плечо — тяжело, как перед боем.

— Я верю тебе. — Глухо. — Не потому, что ты доказал цифрами. А потому, что я вижу: ты готов ответить за свои слова. Головой.

Сжал плечо.

— И я тоже готов. Потому что у меня есть сын.

Отпустил. Подошёл к карте. Вытащил чёрный флажок. Протянул Белову.

— Вот твоя война. — Голос звучал как приговор. — Принимай.

Белов взял флажок. Пальцы сомкнулись на древке.

— Принимаю.

Артузов вернулся к столу. Взял карандаш. На чистом листе написал:

«ДОСЬЕ "ЭМИГРАНТЫ"»

Подчеркнул. Один раз. Жирно.

— Разворачивай. Полгода на подготовку. Внедрение агента. Вскрытие сетки. Имена, явки, маршруты денег, связи с Берлином. Всё — от Шмидта до последнего боевика. — Поднял на Белова тяжёлый взгляд. — Если ты прав — ты спасёшь страну. Если ошибёшься — мы оба полетим. Карт-бланш. Но ты отвечаешь головой. Лично. Понял?

— Понял, Артур Христианович.

Голос затвердел. Тик исчез. Но что-то изменилось — в глазах, в посадке плеч, в том, как он стоял, держа флажок. Не расслабился. Собрался иначе — плотнее, глубже.

— Идёт в работу с сегодняшнего дня. — Артузов продолжил. — Отдельный кабинет, сейф, шифровальщик. Людей возмёшь сам. Но экономь. У нас каждая копейка на счету.

Белов убрал флажок во внутренний карман гимнастёрки.

— Спасибо, Артур Христианович.

— Не благодари. — Артузов оборвал. — Я не подарок тебе сделал. Я крест на тебя повесил.

Потянулся за папиросой. Чиркнула спичка.

— Теперь иди. Работай. И помни: если ошибёшься — твоя Катя и мой Мишка могут не дожить до старости.

Белов кивнул. Щёлкнул каблуками — не по-военному, а по-служебному. Развернулся. Пошёл к двери. Рука легла на холодную медную ручку.

— Белов.

Он обернулся. Артузов смотрел через дым папиросы. Лицо усталое, в глубоких складках. Но глаза живые.

— Я видел много людей. Карьеристов. Фанатиков. Трусов. Подонков. — Пауза. — Ты — другой.

Иди.

— Не подведу.

Белов открыл дверь. Вышел. Щёлкнул замок.

В коридоре было пусто. Гулко. Пахло сыростью, хлоркой и казённым мылом.

Белов прошёл несколько шагов. Остановился. Прислонился спиной к холодной стене. Закрыв глаза. Дышал — глубоко.

В голове стояла одна картина: коммуналка на Сретенке. Лена за пианино. Маленькая Катя на его руках. Тёплая головка. Запах детского мыла.

Он достал чёрный флажок. Древко тонкое, хрупкое. Но тяжёлое, как свинец.

Катя. Пухлые ручки. «Папа!» Если я ошибаюсь — у неё не будет отца. Но если я прав? Если Шмидт растит войну, а я промолчал?

Я считал. Пять раз. Десять. Цифры не врут. Мёртвые не врут.

Я стоял однажды. На станции. Восемнадцать лет. Больше не буду.

Открыл глаза. Выпрямился. Поправил гимнастёрку.

Зашагал по коридору — гулко, чётко. Внизу хлопнула дверь. Зазвонил телефон. Заскрипел трамвай на Мясницкой.

Москва просыпалась. Шла на работу. Не зная, что в этом здании только что началась война — невидимая, тихая. Но — война.

А Андрей Николаевич Белов, старший уполномоченный ИНО ОГПУ, двадцати шести лет от роду, шёл по коридору и шептал — себе, или Богу, или той маленькой девочке на Сретенке:

— Я не дам им пройти. Не дам.

СЕКРЕТНО.	Экз.	№	3.	Хранить	постоянно.
-----------	------	---	----	---------	------------

ОБЪЕДИНЁННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОГПУ) ИНО-СТРАННЫЙ ОТДЕЛ (ИНО)

ДЕЛО № 447 «ЭМИГРАНТЫ» (Украина)

Открыто: 10 ноября 1926 года Ответственный исполнитель: Белов А.Н.

I. БЕРЛИНСКАЯ РЕЗИДЕНТУРА

Донесение от 5.11.1926. Источник: «Карл» (кат. «А»). Шифр: БРЛ-447/26

Установлено: в период с 15 по 28 октября с.г. офицер «Труппенамта» полковник фон Лееб (псевдоним «Шмидт», куратор украинского направления) провёл серию закрытых встреч с представителями украинской политической эмиграции.

Место встреч: кафе «Романишес» (Шарлоттенбург), частная квартира на Виттенберг-плац, 14.

Участники: полковник Коновалец Е. (командир УВО), публицист Крук О., ещё 3–4 человека (личности устанавливаются).

Предмет переговоров: передача средств «на организационную работу в Восточной Галиции» — порядка 50 000 рейхсмарок. Обсуждалась возможность обучения украинских кадров в Германии (диверсионная подготовка, подрывное дело). Фон Лееб передал Коновальцу список контактов в германских промышленных кругах («Стальной шлем», круги Круппа).

ОЦЕНКА РЕЗИДЕНТУРЫ: Германская военная разведка резко активизирует работу по украинскому направлению. Цель — создание антипольского и антисоветского плацдарма на случай будущего конфликта. Финансирование носит системный характер.

Резидент «Север» 5 ноября 1926 г.

II. ПРАЖСКАЯ РЕЗИДЕНТУРА

Донесение от 7.11.1926. Источник: «Сокіл» (кат. «Б»). Шифр: ПРГ-281/26

В период с 20 по 25 октября с.г. в Праге (район Винограды) полковник Коновалец провёл закрытое совещание с группой «молодых радикалов» — около 15 человек, преимущественно бывшие военные.

Повестка: методы «активной борьбы» против польских властей в Восточной Галиции; вербовка и подготовка боевых кадров; создание «троек» в украинских сёлах Галичины; финансирование через «германское содействие».

Идеолог Олесь Крук издал в октябре брошюру «Воля нації — закон історії» (тираж 2000 экз.). Содержание — антисоветское, с элементами фашистской риторики: культ силы, «нація панів», право на насилие. Финансирование — предположительно германское (оплата через швейцарский банк).

ОЦЕНКА РЕЗИДЕНТУРЫ: Эмиграция переходит от разговоров к подготовке конкретных боевых действий. Прага функционирует как идеологический и организационный центр. Связь с германскими кругами не вызывает сомнений.

Резидент «Влтава» 7 ноября 1926 г.

III. ВАРШАВСКАЯ РЕЗИДЕНТУРА

Донесение от 9.11.1926. Источник: «Ястреб» (агент в «Двуйке»). Шифр: ВРШ-193/26

Польская контрразведка фиксирует рост террористической активности в Восточной Галиции (воеводства: Львовское, Тарнопольское, Станиславское).

Статистика за октябрь 1926 г.:

покушения на польских чиновников — 7 случаев, 2 успешных

поджоги польских учреждений — 4 случая

нападения на почтальонов, курьеров — 3 случая

погромы сёл, сотрудничавших с администрацией: 2 случая (сожжено 5 хат, убито 9 человек, включая детей)

Особенность: террор носит целенаправленный характер. Удары — по тем, кто сотрудничает с властями. Цель — запугивание, атмосфера страха.

Позиция польских властей: «Двуйка» квалифицирует происходящее как «обычный послевоенный бандитизм». Связей с Берлином не видит или не хочет видеть. Меры — репрессивные, но несистемные.

ОЦЕНКА РЕЗИДЕНТУРЫ: Польская контрразведка критически недооценивает масштаб угрозы. Непонимание природы явления даёт противнику время для укрепления структур.

Резидент «Висла» 9 ноября 1926 г.

IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Составитель: ст. уполномоченный ИНО ОГПУ Белов А.Н. 10 ноября 1926 г.

ВЫВОДЫ:

Три линии донесений образуют единую систему:

БЕРЛИН — источник финансирования и стратегического руководства

ПРАГА — центр идеологической обработки и подготовки кадров

ГАЛИЧИНА — полигон для обкатки методов террора

Ключевая точка концентрации угрозы: Златопольский уезд, Восточная Галиция (советское приграничье).

Характер угрозы: — Краткосрочная (1–3 года): дестабилизация Польши, создание «пятой колонны» на случай германо-польского конфликта. — Долгосрочная (5–10 лет): при ослаблении Польши — прямая угроза западным границам СССР, перенос террора на территорию УССР, создание сепаратистских настроений.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Развернуть оперативное дело «Эмигранты» с целью агентурного проникновения в структуры УВО; установления полной цепи финансирования от Берлина до конкретных боевиков; вскрытия организационной структуры, явок, баз оружия; получения документальных доказательств связи УВО с германской разведкой.

Срок: 6 месяцев (подготовка) + 12 месяцев (работа в поле).

Ресурсы: 1 оперативник-нелегал (легенда — коммерсант), 2–3 агента из местного населения, финансирование ≈ 15 000 руб./год, связь через варшавскую резидентуру.

Белов 10 ноября 1926 г.

[Рукописная резолюция начальника ИНО ОГПУ тов. Артузова А.Х .:]

«Согласен. В работу немедленно. Приоритет — ВЫСОКИЙ. Ответственный — Белов.

Срок первого доклада — май 1927 г. Держать меня в курсе лично.

Артузов»

10.11.1926

СЕКРЕТНО

Глава 5. Кабинет коменданта

*Бойся не тех, кто кричит, — бойся тех, кто запоминает молча.
(народная мудрость)*

В кабинете пахло не государством.

Пахло потом, табаком, вчерашними кислыми шами — их, судя по всему, ели прямо здесь, на столе, — и одеколоном «Шипр»: тем дешёвым, сладковатым «Шипром», которым комендант Юзеф Новак щедро поливал себя по утрам, искренне полагая, что это решает вопрос. Вопрос не решался.

Чай принёс денщик Малиновский — бесцветный, узкоплечий ефрейтор с вечно опущенными глазами. Он же истопил печь, он же начистил сапоги, он же расставил на столе подстанник, чернильницу, пресс-папье — и истаял, как истаивает пар над котлом: был — и нету, и следа нет. Новак его почти не замечал. Как не замечают воздух — пока он есть.

Чугунная печь в углу гудела и светилась красным боком — её затопили с утра по-январски, хотя ноябрь выдался тёплым. Коровы ещё паслись на выгонах, солнце ещё грело, но приказ был отдан, дрова заложены — и теперь в кабинете густилась такая баня, что портьеры взмокли насквозь. Признать ошибку и велеть открыть окно комендант не мог. Это была бы слабость.

Новак сидел.

Он занимал казённое кресло всем своим существом — плотно, основательно, как занимают должность, на которую не слишком заслуженно попали и которую поэтому держат мёртвой хваткой. Мундир расстёгнут. Португеза врезалась в живот так, что мясо нависало сверху и снизу — тесто, перетянутое бечёвкой. Несвежая нижняя сорочка прилипла к спине сырой тряпкой. Лицо — багровое, лоснящееся — и в усах застряли крошки от утренней булки.

Но сапоги сияли.

Начищены до зеркального блеска — в голенище плавало отражение потолка: закопчённого, с жирной мухой, нарезающей круги под люстрой. Новак изредка, с тихой нежностью, опускал на них глаза. Сапоги были единственным в этом кабинете, что не вызывало у него раздражения.

Сапоги. Вот что главное. Пока сапоги сияют — всё в порядке.

Он пил чай. стакан в латунном подстаканнике был липким от сахара; на краю мутно-коричневой жидкости плавал размякший ломтик лимона. Комендант пил с шумом — сёрбал, втягивая горячее сквозь пышные усы, издавая звук, который в кабинетной тишине звучал неприлично, вызываясь плотски. Он не пил — впитывал, жадно, по-животному, и после каждого глотка выдыхал с присвистом, поправляя усы грузными сыроватыми пальцами. Обжигающий сладкий чай мешался во рту с привкусом табака и вчерашнего сала — но это был его вкус, вкус сытости, вкус власти, и пока этот вкус стоял на языке — мир держался.

Перед ним высились горы бумаг — желтоватые папки с синими орлами на штампах. Новак перебирал их мясистыми пальцами брезгливо, как ворошат золу, заранее зная, что углей не осталось. Жалоба. Жалоба. Корова. Побой. Он не читал — перекладывал с места на место, создавая видимость движения.

Бумажки. Опять бумажки. Ноют. Вечно ноют.

Над портретом Маршала Пилсудского, висевшим над комендантской головой, кружила муха. «Дедушка» с портрета смотрел вдаль — туда, где когда-то гремели пушки под Варшавой, — а муха без малейшего пиетета ползала по его знаменитым усам.

Новак не обращал на неё внимания. Он думал о Варшаве.

В мыслях он стоял перед трибуной. Зал. Люстры. Генералы в орденах. Пан министр в первом ряду. И он, комендант Новак, говорит — чётко, твёрдо, государственно. О порядке.

О восточных креслах. О том, что один, без поддержки, железной рукой держит эту землю. Зал аплодирует. Министр кивает. Орден — на грудь.

Вот увидят. Оценят. Обязательно оценят .

В реальной жизни он был грузным, вспотевшим человеком, которого сослали на восток за что-то, чего он так до конца и не понял. В тайной — героем.

Жар от печи сделался густым, ослизлым, льнувшим к коже. Новак вытер лоб. Покосился на окно. Не открыл.

Муха совершила круг почёта над его головой и вернулась к портрету.

И вот тогда — дверь скрипнула.

Новак не повернул головы. Но пальцы на папке замерли.

Сержант Войцех Грабовский был человеком без лица.

Не в том смысле, что лицо отсутствовало — лицо имелось: серое, вытянутое, с жидкими усиками, которые он отпустил для солидности, но которые солидности не прибавили. Просто за двенадцать лет службы это лицо научилось не выражать ничего. Ни согласия, ни несогласия, ни усталости — хотя усталость была, глубокая, вьёвшаяся, как соль в раны, которых он давно не замечал.

Он вытянулся у порога и смотрел на коменданта с той профессиональной пустотой во взгляде, которая на военной службе ценится дороже ума. Руки по швам. Спина прямая. Он умел ждать так, что само его молчаливое стояние наливалось давлением, от которого в кабинете сделалось ещё теснее.

Новак не торопился.

Поставил стакан. Взял платок. Промокнул усы, потом лоб. Пауза — намеренная, отточенная годами, отлаженная, как механизм.

Пусть стоит . Пусть ждёт . Я тут не на побегушках.

— Ну? — произнёс он наконец, не глядя на сержанта.

— Пан комендант. — Грабовский говорил ровно, без интонаций, как читают протокол. — Там двое. Из Заречья. Уланский патруль корову увёл. Без квитанции. Просят разобраться.

Тишина.

Новак взял стакан, сёрбнул, поставил. Провёл по усам тыльной стороной ладони — хотя усы давно просохли.

Грабовский знал, что крестьяне правы. Новак знал, что Грабовский знает. Уланы действительно брали скотину — он сам видел позавчера, как гнали двух коров по Садовой, и никакой квитанцией там не пахло. Но это был негласный порядок вещей, о котором не говорили вслух, как не говорят о том, что хозяин дома пьёт. Все знают. Никто не называет.

— Корова, — повторил Новак с таким выражением, словно сержант сообщил ему о падении метеорита. — Корова. Значит.

— Так точно, пан комендант.

Новак отвалился на спинку кресла. Оно скрипнуло — жалобно, привычно. Уставился в потолок, где муха продолжала свой методичный обход закопчённой лепнины.

Каждый день что - нибудь . Курица, корова, побои . Что я им — пастух ?

— Много их? — спросил он.

— Двое. Старик и парень молодой.

— Вооружены? — произнёс Новак с абсолютно серьёзным лицом.

Грабовский не моргнул.

— Никак нет, пан комендант.

— Ну ещё бы. — Новак поджал губы. — С корзинкой небось пришли? С пасхальным куличом?

— С шапками, пан комендант.

Грабовский вообще не шутил. Но что-то в абсолютной серьёзности ответа было такое, что Новак быстро глянул на него — и тотчас отвернулся.

Смеётся ? Нет. Не может . Рожка каменная . Ладно.

— Ладно, — бросил он с видом человека, принявшего решение государственной важности. — Зови. И форточку там, в коридоре, открой — напустят сейчас овчинного духу, и без того дышать нечем.

— Слушаюсь.

Грабовский повернулся к двери. Уже взявшись за ручку, на секунду замер — ладонь на металле, спина неподвижна, дыхания не слышно. Заминка призрачная, почти несуществующая — и прошла. Вышел.

Новак запрокинул голову и прикрыл глаза.

Вот сейчас войдут . Будут кланяться. Мять шапки . Бормотать на своём . А я — выслушаю . Милостиво. Или не выслушаю . Как захочу . Потому что я здесь — закон .

Приятное тепло разлилось в груди — не от печки, а от предвкушения.

— Впускай! — бросил он в закрытую дверь. Так бросают монету нищему.

Дверь отворилась.

Они вошли вместе, но по-разному.

Старик — мелкими семенящими шагами, уже с порога согнувшись в полупоклоне, комкая в чёрных потрескавшихся руках шапку. Лицо — печёное яблоко в глубоких морщинах — выражало ту степень покорности, которая граничит с исчезновением. Не смирение — нет; смирение бывает у тех, кто выбрал его сознательно. Это было иное: привычка быть меньше, тише, незаметнее, выработанная десятилетиями, въевшаяся в походку, в наклон шеи, в сутулую покатость плеч. Шапка в его ладонях жила отдельной жизнью — дрожала, скручивалась, точно и сама просила о чём-то.

Молодой парень шагнул следом — и встал. Руки вдоль тела. Глаза в пол. Но пальцы стиснуты в кулаки, и скулы ходили размеренно, как жернова, перемалывая что-то внутри, не давая вырваться наружу.

Новак не поднял головы.

Перебирал бумаги нарочито, брезгливо. Потом взял спичку и начал задумчиво ковырять в зубе, разглядывая папку с таким видом, точно в ней содержались государственные тайны, а не жалобы на потраву огорода.

Пусть постоят. Пусть почувствуют.

Старик прокашлялся — тихо, в кулак, — точно даже кашель здесь требовал разрешения.

— Прошу пана коменданта... — начал он на той смеси местного наречия и исковерканного польского, которая рождается у людей, живущих на границе языков и не имеющих права ни на один из них. — Милости просимо... Беда у нас, пане... Уланы, значить, позавчера... коривку нашу... Лиску... Кажуть, на провиант. А бумаги не дали. А як же ж нам без бумаги, пане комендант? Ми б и не проти, для державы... та дитки ж...

Голос осёкся — как нитка, которую дёрнули слишком резко. Шапка свилась в жгут.

Коривку . Лиску . Корову зовут Лиска .

— ...без молока ж зовсим, пане... зима иде... — договорил старик, окончательно потерявшись в собственной просьбе.

Новак отложил спичку. Допил остывший чай одним глотком. Повертел пустой стакан в пальцах, поставил. Впервые поднял глаза на просителей — и окинул их так, как смотрят на пятно на скатерти: с тем брезгливым недоумением, которое заранее решило, что виновато пятно.

— Уланы, говоришь. — Помолчал, давая слову осесть. — А ты не брешешь, старый? Может, пропили Лиску вашу, а теперь на войско наговариваете?

— Иисусе-Марие, пане комендант! — Старик перекрестился дрожащей рукой, и крест вышел неровный, сбивчивый — правая почти не слушалась. — Як можна... Люди бачили... Ми ж смирни...

— Смирные, — повторил Новак, смакуя слово, как смакует кусок, который собираются выплюнуть. — Смирные они. — Откинулся в кресле. — Слышал я таких смирных. Каждый день слышу. «Увели», «побили», «обидели». Вы, русины, только и умеете, что ныть да за пазухой камень держать. Вам дороги построили — мало. Цивилизацию принесли — мало. Из грязи вытащили, дармоеды, а вам всё...

На слове «дармоеды» что-то изменилось.

Молодой парень поднял голову.

Это произошло не резко, не демонстративно — просто он смотрел в пол, и вдруг уже не смотрел. Смотрел на Новака. Прямо. Без поклона. Без просьбы. Без оглядки.

В кулаках полыхнуло жаром — тупым, горящим, — а во рту разлилась желчь: горькая, кислая, как от давленного железа. Он не шевельнулся. Не сказал ни слова.

Только смотрел.

Новак осёкся.

Не замолчал — нет, он не позволил себе замолчать. Но что-то внутри споткнулось, сбилось с ритма, как спотыкается сердце о собственный удар. Он продолжал говорить — про цивилизацию, про порядок, — но слова стали чуть громче, чуть быстрее, чуть менее уверенными.

Потому что в этих глазах не было ничего из того, к чему он привык. Не страха. Не мольбы. Даже не ненависти — той горячей, очевидной, которую можно назвать, придавить, наказать. Было иное — ледяное, глубинное, донное. Взгляд, который не спорит и не умоляет, а смотрит и запоминает. Лицо. Голос. Каждое слово.

Что он ... Что это он так смотрит ? Хлопец. Молодой . А глаза ...

Под ложечкой ёкнуло — мелко, неприятно, как перед оступанием на лестнице. Пальцы на краю стола похолодели. Новак поймал себя на том, что первым отвёл глаза — на сапоги, на бумаги, куда угодно.

Ерунда. Быдло он . Хам босоногий .

И поэтому — именно поэтому — закричал. Громче, чем собирался.

— Хватит! — Ладонь грохнула по столу. Стакан вздрогнул, лимон качнулся в мутной жиже. Старик дёрнулся — как подсечённый, — кровь отхлынула от рук, от лица, казалось — от самого сердца. — Наслушался! Значит так — корову взяли, значит, нужно было для польского государства! Радуйтесь, что хату не реквизируют! А будете пороги обивать — посажу! Вот в этой папке на вас уже дело лежит. О саботаже. Хотите, ход дам?

Никакого дела там нет. Но они ж не знают.

Старик побелел. Губы затряслись. Под сердцем — давящая тупая боль, которую он знал с молодости: так болит, когда теряешь то последнее, что ещё держало тебя на земле.

— Не треба, пане... — выдохнул он. — Ми ж не проти... Ми ж за порядок...

— Вон! — Новак рявкнул в полный голос. — Чтоб духу вашего тут не было! И молитесь за здоровье Маршала, что я сегодня добрый!

Старик попятился к двери, кланаясь на ходу, бормоча обрывки слов, ноги подкашивались.

Молодой парень не попятился.

Повернулся — спокойно, без суеты — и пошёл к выходу. Но на пороге обернулся. Не сказал ничего. Только посмотрел — ещё раз, последний, — тем же неотступным, запоминающим взглядом, от которого не спрячешься ни за мундир, ни за печать, ни за крик. Ни злобы в нём не было, ни слёз — только та страшная тихая сосредоточенность человека, который уже всё для себя решил.

Створка закрылась. Щеколда звякнула.

Новак остался один.

В кабинете всё было на месте: папки, стакан, портрет Маршала, гудящая печь, муха над люстрой. Всё — как прежде. Но что-то изменилось, что-то пристроилось в тени шкафа, при-
таилось в углу — и теперь сидело там, не двигаясь, не дыша, но и не уходя.

Тихо. Что -то тихо как-то.

Новак потянулся к стакану.

— Быдло, — сказал он вслух.

Сказал — и прислушался. Слово не сработало. Повисло в воздухе, тощее, пустое, как чучело, из которого высыпалась солома.

Посмотрел в окно — жёлтая листва на площади, ноябрьское солнце, которое светит, но не греет. Рыжий свет лежал на паркете косо, предзакатно.

Правильно я их . Твёрдо . По- государственному .

Но взгляд парня не уходил.

Не лицо — лицо он уже почти не помнил, обычное крестьянское лицо, каких тысячи. Именно глаза. Тот момент, когда голова поднялась и зрачки — ледяные, неподвижные, бес-
страшные — встретили его и не дрогнули. А он — первый — отвёл.

Ерунда. Хлопец деревенский . Что он мне сделает ?

Опустил глаза на сапоги.

Сияли. Безупречно, зеркально. В голенище плавало размытое отражение окна, неба, края
стола. Всё на месте.

Вот . Сапоги. Порядок. Я — комендант. Я — власть.

Не спасло и это.

Потому что под сапогами и мундиром, под портупеей и печатями жил другой человек
— маленький, потный, испуганный, — и именно он сейчас не мог утишить тревогу. Ему было
не по себе: сосуще, садно, как бывает, когда сделал что-то такое, за что потом, когда-нибудь,
придётся платить. Новак поймал себя на том, что смотрит не на бумаги, а на дверь — на ту
самую створку, в которую они вышли.

— Быдло, — повторил он.

На этот раз — тише. Без убеждённости. Как повторяют молитву, в которую уже не вполне
верят, но привычка осталась, и без этой привычки — страшно.

Муха сделала круг над столом и ушла обратно к портрету. Жар от печи давил — как
крышка на котле, под которым что-то начинало закипать.

Новак провёл ладонью по лицу. Ладонь была мокрой — и не только от духоты.

И в эту секунду — дверь открылась.

Без скрипа. Без стука. Уверенно — так открывают двери люди, которые знают, что имеют
право войти.

На пороге стоял уездный судья пан Казимир Завадский.

Если Новак был воплощением душного, потного, хлюпкого полдня, то с приходом судьи
в кабинет потянуло сквозняком из иного здания — сухим, прохладным, пахнущим крахмалом
и той особой канцелярской выправкой, которая не от армии, а от многолетней привычки стоять
перед законом прямо, как бы закон ни гнулся вокруг.

Завадский был сух, подтянут, бледен. Серый костюм сидел безупречно, несмотря на про-
винциальную пыль. Крахмальный воротничок белее снега. Галстук завязан узлом такой гео-
метрической точности, что казалось — по линейке. Ему было за пятьдесят, но лицо — худое,
с глубокими складками у рта — несло не столько возраст, сколько пережитое: за круглыми
очками — беспристрастные, выцветшие глаза, в которых отгорело слишком многое. Ни гнева
в них, ни презрения — только та особая трагическая усталость человека, который слишком
много раз наблюдал, как закон превращается в пыль. В коленях ныло — давняя боль, от мно-
голетнего стояния в судебных залах, — но он не сел. Здесь — не сядет.

Новак дёрнулся в кресле, пытаясь застегнуть крючок воротника, — грузные отсыревшие пальцы оскользнулись. Так и остался сидеть расстёгнутым, рыхлым, пойманным врасплох.

Вот ещё . Этот . Со своими параграфами . Очень не вовремя .

— А, пан судья, — протянул он, не вставая. — Какими судьбами? Мы тут, знаете ли, делом заняты. Государственным.

Завадский не ответил на тон. Переступил порог, остановился посреди кабинета. Стула не искал. Стоял так, как стоят перед алтарём или перед судом — выпрямившись, руки сложены перед собой. Глаза скользнули по заваленному столу, по засиженному мухами портрету, по побуревшему потному лицу коменданта — и каждый предмет лёг в этот взгляд, как вещественное доказательство ложится в дело.

Тот же кабинет. Тот же хаос. Тот же человек. Закон здесь — как мебель: для вида.

— Я видел тех людей, Юзеф, — произнёс он. Голос негромкий, сухой, точно шуршание судебных листов. В этом безмолвии и шёпот рассекал воздух вернее крика. — Я стоял в коридоре. Я слышал.

Пауза. Короткая — но весомая, как печать на приговоре.

— Реквизиция скота без ордера — подсудное дело. Рассмотрение таких жалоб — прерогатива суда. Прошу впредь направлять ко мне.

Прерогатива. Ордер . Словно здесь Варшава. Словно здесь цивилизация , а не болото с хамами.

Новак хмыкнул — с присвистом, утробно. Отвалился на спинку.

— Пан судья, вы когда-нибудь смотрели в окно? — Повернулся к стеклу, за которым дремала пустая площадь с чахлыми каштанами. — Не в свои бумаги — в окно? Я смотрю каждый день. И знаете, что вижу? Не параграфы. Людей. Вот этих самых — которые только и ждут момента, чтобы всадить нам нож в спину. Им не суд нужен. — Выставил кулак — мясистый, побагровевший — над столом. — Им нужна рука. Железная рука. Чтоб боялись. Чтоб шапку ломали за версту.

— Юзеф, — произнёс Завадский всё так же ровно. — Реквизиция без ордера незаконна. Это не моё мнение. Это закон Речи Посполитой. Тот самый, на службу которому мы оба присягали.

Присягали . Он ещё про присягу . Я присягал Польше , а не бумажкам .

— Закон! — Новак грохнул ладонью по столу — папки съехали на пол, бумаги веером разметались по паркету. Встал — рывком, грузно, нависая всей своей массой. — Вы, крючкотворы, в своих бумажках утонули! Пока вы ордера выписываете — они ножи точат! Пока параграфы листаете — в лесах собираются! Я здесь — власть! Я здесь — порядок! И пока я комендант, буду давить эту гниль так, как считаю нужным!

Голос ударился о стены, о потолок, о портрет Маршала — и вернулся, как возвращается эхо в пустом храме: гулко, одиноко.

Вот так. Громко . Твёрдо . Он стоит — значит, слушает . Я прав . Я всегда прав .

Пот тёк по спине. Сердце колотилось. Это было приятно — как после боя, в котором никто не стрелял.

Завадский стоял неподвижно.

Ни один мускул не дрогнул на его лице. Смотрел на Новака не со злостью и не с испугом — с той глубокой, почти клинической усталостью, с какой врач смотрит на больного, отказывающегося от лечения. За плечами Завадского были три рухнувшие империи. Он видел, как Австро-Венгрия, Россия, Германия — государства, где закон ещё что-то значил, — обращались в прах. И каждый раз этому предшествовало одно и то же: багровое лицо, кулак на столе, слова про железную руку.

Железная рука . Слышал в восемнадцатом . В двадцатом. Всегда одно и то же . И всегда — кровью .

Муха, потревоженная криком, взвилась и начала биться о пыльное стекло — раз, другой, третий. Жужжание — уже не монотонное, а тревожное, как зуммер телеграфа, отбивающего дурные вести.

Завадский молчал. И молчание это было весомее любого возражения — потому что возражение можно перекричать, а молчание нечем крыть.

Пауза длилась — три, может, четыре секунды. Муха билась о стекло.

Завадский поправил манжету — жест маленький, незаметный, но точный, как последний росчерк пера под приговором. Потом поднял глаза на Новака — спокойно, без спешки, как поднимают глаза на то, что уже решено.

— Твёрдая рука без закона, Юзеф, — произнёс он негромко, — называется бандитизмом. Даже если эта рука одета в государственный мундир с орлами.

Больше он не сказал ничего.

Развернулся — через левое плечо — и вышел. Дверь за ним затворилась без хлопка, без скрипа. Тишина была такой окончательной, что казалось — створку закрыл не человек, а сам Закон: спокойно, без гнева, навсегда.

Новак остался стоять.

Бандитизм. Он сказал — бандитизм. Мне . Мне — бандитизм. Я в мундире . Я комендант . Я присягал . Я — Польша.

Слово осело в кабинете — тяжёлое, неподъёмное, как свинцовая пломба на деле, которое уже не вскроешь. Его нельзя было разогнать руками, нельзя было перекричать — некого было перекричать, Завадский ушёл, кабинет пуст.

Старый дурак . Жизни не знает . Я прав . Я всегда прав . Железная рука — это правильно . Это необходимо . Я защищаю . Бандитизм — это же ... это же ...

Немота не отступала — густая, живая, она заполняла углы, лезла под мундир, садилась на плечи тяжестью, которую не сбросишь. После крика безмолвие всегда большее: в крике можно спрятаться, в крике есть стены и потолок, а потом голос обрывается — и остаётся пустота. И в пустоте — одно слово.

Бандитизм.

И ещё один образ, который не давал покоя с того момента, как звякнула щеколда: глаза парня. Неотступные. Запоминающие. Глаза человека, который уже всё для себя решил.

Новак сглотнул.

Муха всё билась о стекло — монотонно, тупо, раз за разом. Жужжание сделалось невыносимым — словно кто-то сверлил самую тонкую стенку в его голове, за которой он давно ничего не хотел слышать.

Он схватил пресс-папье.

Тяжёлый бронзовый прибор обжёг ладонь холодом металла. Новак размахнулся — не думая, не целясь, просто чтобы убить это жужжание, эту пустоту, это слово — и швырнул.

Муха улетела в сторону.

Пресс-папье ударило в портрет Пилсудского.

Звон. Короткий, сухой, как треск кости. Потом — тонкий хруст стекла, похожий на выдох.

Трещина прошла неспешно — от угла рамы через лоб, через правый глаз, через щёку — наискось, раскалывая лицо Маршала надвое, так что две половины его взора теперь смотрели в разные стороны. Осколки — мелкие, острые — посыпались на пол. Один лёг на бумаги с синими орлами.

Пилсудский по-прежнему смотрел вдаль. Только теперь — расколотым лицом.

Портрет. Я разбил портрет . Маршала. Дедушку . Боже. Если узнают ... случайно ... я целил в муху ... Случайно . Просто стекло. Но почему прямо по лицу ? Почему пополам ?

Новак не позвал Малиновского.

Осел в кресло, как оседает подмытый берег — грузно, неостановимо. Кресло приняло его с привычным жалобным скрипом.

За окном свет менялся. Ноябрьский день умирал быстро — гас, как гаснет лампадка в пустой церкви: тихо, без свидетелей. Тени от оконных переплётвов легли на пол длинными крестами. Осколки в этом свете поблёскивали — острые, неубранные, как неубранные следы преступления, в котором некого обвинить.

Новак посмотрел на осколки. Потом — на сапоги.

Сапоги блестели. По-прежнему. Невозмутимо.

Портрет треснул. Сапоги блестят.

Эти два факта существовали рядом и не складывались ни во что целое — как две половины расколотого маршальского лица.

Всё в порядке . Я прав . Это просто стекло . Скажу — само упало . Малиновский не спросит . Молчит . Всегда молчит .

Потянулся за папками. В самом дальнем углу, за стопкой дел о «саботаже», которых не существовало, стояла бутылка. Початая. Сливовица — местная, крепкая, с тем смолистым горьковатым привкусом, который он сначала терпеть не мог, а потом привык — как привыкают ко всему, что помогает не думать.

Достал. Поставил перед собой. Начал наливать.

Рука дрожала.

Сливовица плеснула мимо — тёмная пахучая лужица расплылась по синим орлам на штампах. Новак глядел на неё секунду — на эту лужицу, заливающую государственные гербы, — убрал стакан и поднёс бутылку к губам.

Пил не торопясь, запрокинув голову. Спирт обжигал горло, разливался огнём по пустому желудку — но согревал не тело, а ту яму внутри, которая разверзлась после ухода Завадского и не желала закрываться.

Сейчас станет лучше . Сейчас слово уйдёт .

Слово не уходило.

Бандитизм.

Опустил бутылку. Уставился в портрет.

«Дедушка» глядел вдаль расколотым лицом. Две половины жили теперь отдельно — левая куда-то вправо, правая куда-то влево. В сумеречном свете трещина казалась не тонкой линией на стекле, а чем-то более глубоким — точно шла не по стеклу, а по самой идее, которую это лицо олицетворяло.

Я не бандит . Я комендант . Я в мундире . Я один держу здесь порядок , без помощи , без благодарности , в этой дыре , среди этих хамов — и меня называют бандитом ? Закон — это я . Я здесь — закон .

Но где-то под этим, в самом тёмном углу сознания, в который он не заглядывал и норывил не заглядывать, — снова всплывали глаза парня. Не злые. Не слёзные. Просто — запоминающие.

Новак поднёс бутылку к губам.

За окном на площади Златополя зажглись первые фонари — тусклые, керосиновые, они бросали на сырую брусчатку жёлтые дрожащие круги. Прохожих почти не было. Последние листья каштанов лежали по углам тёмными прелыми кучами — запустелый, промозглый город засыпал, и в этом засыпании чудилось что-то необратимое.

В кабинете стемнело.

Новак не зажёл лампу.

Сидел в сумерках — перед треснувшим портретом, с бутылкой в руке. Сапоги блестели в темноте последним отблеском угасающего дня. Осколки на полу. Лужица сливовицы на бумагах. Пустой стакан в подстаканнике.

Позвать Малиновского . Пусть уберёт . Он не спросит . Знает , как надо.

Не позвал.

Потому что Малиновский войдёт — и увидит. Увидит бутылку, увидит осколки, увидит его — вот такого, расстёгнутого, с сырыми ладонями и пустыми глазами. А Малиновский молчит, да, всегда молчит. Но молчание копится. Молчание помнит.

Все помнят. Все .

Новак поставил бутылку на стол — и промахнулся краем. Она качнулась, звякнула о подстаканник, устояла. Он не пошевелился. Сидел и смотрел, как качается, успокаивается, замирает.

В горле горело.

Муха — та самая, пережившая весь этот день, — нашла наконец то, что искала с утра: тонкую щель между рамой и стеклом. Протиснулась. Зажужжала — один раз, прощально — и вылетела в ноябрьские сумерки. Вырвалась.

В кабинете стало глухо. Не то затишье, что бывает между делами, — другое, неизъяснимое: то, что приходит, когда все ушли, и остаётся только произнесённое, и содеянное, и то, что уже не исправить.

Бутылка на столе. Осколки на полу. Трещина на портрете — чёрная в темноте, как рана, которую нечем перевязать. Сапоги блестят — последним, призрачным блеском. За окном рыжие фонари и сырая брусчатка площади, по которой уже никто не ходит.

Новак думал не о просителях.

Он думал о Варшаве. О трибуне. О зале с люстрами, где пан министр кивает и орден — на грудь. Думал об этом упорно, исступлённо, как думают о чём-то, что помогает не думать о другом.

Но другое не уходило.

Бандитизм.

И тот взгляд.

Новак потёр лицо ладонями — грубо, не жалея — и когда убрал руки, лицо было мокрым. Не от слёз. Просто пот. Просто духота от печи, которую истопили слишком рано, по-январски, хотя ноябрь выдался тёплым.

Просто пот.

Он снова взял бутылку.

И в эту минуту — такую глухую, такую окончательную — где-то там, за тёмными окнами, два человека шли по сырой брусчатке площади Златополя. Старик — мелкими семенящими шагами, нагнув голову, кутаясь в свитку. Молодой парень — рядом, прямо, не оглядываясь.

Они не говорили.

Старик думал о корове — о том, что зима идёт, что дети без молока, что беда пришла и некому помочь, и Бог молчит, и пан комендант — закон, а закон — против них. Думал — и крестился на ходу, еле заметно, себе под нос, прося у Господа терпения, потому что ничего другого просить уже не умел.

Молодой парень не крестился.

Шёл и молчал. Лицо закрытое, тёмное — такое бывает у людей, которые уже перестали просить и начали думать. Пальцы разжались — наконец, впервые за этот час — и ладони были горячими, как после огня.

Он запомнил. Лицо. Голос. Каждое слово.

Дармоеды .

Это слово ляжет в него — как зерно ложится в землю. Тихо, незаметно, в темноте. И прорастёт — не завтра, не через год — но прорастёт. В этой земле всё прорастает. Особенно — посеянное в гневе.

Новак об этом не думал.

Он пил.

Фонари качались на ноябрьском ветру, бросая на брусчатку дрожащие жёлтые круги.
Свет не стоял на месте — колебался, уходил, возвращался, как всё непрочное.

В кабинете коменданта горело одно.

Красное.

Печь.

Она всё ещё жарила в углу, всё ещё наливалась раскалённым боком — упрямо, бессмысленно, затопленная в ноябре, когда ноябрь тёплый и топить незачем. Никто не велел её гасить. Никто не откроет окно. Никто не признает ошибки.

Дрова будут гореть до утра.

ГЛАВА 6. РЫНОК

Земля всё примет — и семя, и навоз, и плевков. Только урожай сам себе судья. (Народное)

I.

Рыночная площадь Златополя к полудню уже не гудела — жила. Дышала. Густилась тысячью голосов, как тесто в квашне: переливалась через края, не унималась, распирала любые берега. Небо стояло низкое, прозрачное, пепельно-голубое — такое бывает лишь в ноябре, когда холод уже вошёл в силу, но зубов ещё не показал. Воздух был густой, пахучий — тёплым конским навозом, ядрёным укропом, дёгтем с осей; и поверх всего, сладко и горьковато, — последними антоновскими яблоками и свежим хлебом.

Запах земли, добытой горбом.

Семья Бондаренко стояла у своего воза — тяжёлого, гружёного до краёв, вдавившегося колёсами в сбитую серую землю, точно и он устал от долгой дороги. Вокруг них рынок кипел, торговался, смеялся — во всю свою позднеосеннюю, последнюю силу.

Петро взял мешок. Пять пудов пшеничной муки легли ему на спину, рубаха натянулась на лопатках. Не крикнул, не охнул — коротко выдохнул и понёс. Лицо его было красное, задублённое, изрытое бороздами: солнце и ветер обрабатывали его сорок лет без выходных и без жалости, вспахав до самой сердцевины — как пашню пашут до дна, до камня, до живого. Под ногами — утоптанная пыль, под пылью — земля. Она была его, хоть пан в Варшаве думал иначе.

Назар стоял на возу — та же кость, та же порода, только ещё не перекалённая горем, без седины в усах, с литой, природной силой в каждом движении. Взял. Поднял. Подал. Скрип весов под мешком — единственный звук, что исходил от них двоих среди рыночного гула. Работа шла неспешно, неотвратно, как вода идёт по руслу — никуда не торопясь, потому что знает: дойдёт.

У прилавка хлопотала Одарка. Повязанная белым платком с пунцовыми маками, раскладывала капусту, связки золотистого лука, головки чеснока с сизым восковым отливом, куски жёлтого, слезящегося маслом сала. Когда что-то ложилось не так — поправляла одним движением пальцев, не глядя, как поправляют привычное, кровное, своё. Рядом — Галя, черноброва, с яблочным румянцем во всю щёку, в свои восемнадцать лет уже вполне хозяйка, — протирала тряпицей яблоки одно за другим. Под её руками они начинали светиться тёплым, медовым светом — изнутри, будто в каждом таился ещё не угасший последний уголёк августа.

Омелько стоял у заднего колеса. Стоял — и только.

Кепка сдвинута набекрень, на городской манер. На рубахе — покупная вышивка, красная, аляповатая, сидевшая на его широких плечах, как чужое седло на чужом коне. Лениво сгонял веточкой вялую позднюю муху — ту едва живую, что и улетать не думала. Время от времени поправлял напوماженный чуб, скашивал глаза в мутное отражение в медном бидоне, оставался доволен. Потом снова косился в сторону торговых рядов — туда, где прогуливались гимназисты в фуражках и дамы под кружевными зонтиками, где витрины блестели и тянуло духами. Взгляд у него был — что у голодного пса перед чужой миской: без дна, прикипевший к чужому освещённому окну, — зависть, которой он сам себе названья не давал.

Назар покосился на брата. Принял от Петра следующий куль, поставил на весы, придерживал одной рукой. Не глядя сказал:

— Омелько. Коней напои.

Тишина.

— Сам напои, — процедил тот, чтоб не долетело до батька. — Я тоби не наймит.

Мешок по-прежнему висел на весах — Назар держал его одной рукой. Медленно повернул голову и стал ждать, пока Омелько не почувет этот взгляд на затылке.

Омелько поймал его. Сглотнул. Отвернулся — поспешно, с наигранной небрежностью, остервенело ковыряя ремень ногтем. Не обязан. Не холоп. Своя голова. Я здесь случайно, временно, не с ними.

Назар фыркнул — коротко, с презрением — и поставил мешок.

Что-то между ними разошлось — как расходится старый шов под грузом: беззвучно, намертво, навсегда.

Петро, стоявший внизу, всё видел. Не вмешался. Покосился на младшего из-под кустистых, мучной пылью пропитанных бровей — одним коротким взглядом, в котором не было злобы. Только горечь. Та отцовская горечь, что горше злобы, — потому что знает наперёд и всё равно не в силах помочь.

Отец, потерявший сына при жизни, хоронит его дважды: первый раз — когда понимает. Второй — когда несёт это молча до конца дней.

Он взял следующий мешок.

II.

Одарка замерла — резко, будто её окликнули сзади. Оглянулась. Ничего. Рынок гудел, солнце светило. Но она застыла и смотрела куда-то вверх крыш, в серенькое предзимнее небо — и пальцы сами нашли угол платка, прикусила краешком губ. Потом быстро, украдкой, перекрестилась трижды. Прижала ладонь к груди.

— Чого ты, мамо? — спросила Галя.

Одарка не сразу ответила.

— Серденько чуе, донечко. Бида близко ходить.

— Та яка бида, — Галя оглянулась на бледное небо, на солнечную пыль над площадью. — Сонце он яке.

— Розум бреше — вигоди шукає. А душа — ни. Вона своє знає.

Галя взяла яблоко. Стала протирать — медленнее, чем прежде.

Тишина пошла от краёв рынка к центру — постепенно, неотвратимо, как убывает вода в пересыхающей реке. Сначала смолкли крайние ряды. Потом — торговки рыбой. Перебранка у весов осеклась. Смех оборвался на полуслове. Голос зазывалы — следом. Шарманка стихла последней. Рыночный гул, казавшийся вечным, редел, истончался, оседал — загустелой тишиной ложился на кожу, как та мгновенная тяжесть воздуха, после которой ничто уже не будет прежним.

Петро, стоявший спиной к женщинам, не обернулся. Опустил руки вдоль тела — и стал слушать. Не ушами. Тем, чем старый зверь чует лес: позвоночником, нутром, корнями, уходящими в живое. Скосил взгляд в сторону каменных рядов: оттуда расплзалась та же тишина — масляным пятном по чёрной воде. Не полиция. Тяжелее. Скулы дёрнулись. Брови сошлись.

Назар на возу увидел, как изменились плечи отца. Вскинул голову. Умолк — иначе, чем молчал до этого.

У соседней телеги баба с капустой подняла голову, огляделась — и тихо накрыла товар руками, прижала к себе. Мужик рядом, не глядя на неё, бросил негромко:

— Тихо. Не накликай.

Кто-то в толпе произнёс одним выдохом:

— Шандарми...

Одарка закрыла глаза на секунду. Пальцы, лежавшие на прилавке, стиснулись — убрала под фартук. Руки похолодели. Но лицо осталось спокойным: дочь рядом и смотрит.

Галя держала яблоко в руках — тёплое, наливное, тяжёлое — и не сводила глаз с того края площади, куда уставились все.

Петро поставил мешок на землю. Не на весы — просто рядом. Распрямил спину. Сложил руки вдоль тела.

Стал ждать.

Они шли неторопливо — двое в тёмно-синих, гранатовых мундирах, с лакированными козырьками конфедераток, с пуговицами, горящими на осеннем солнце, точно литьё, облитое кислотой. От них несло гуталином и чем-то казённым, кисловатым — запахом из иного мира, чужеродным среди духа навоза, хлеба и сала, словно принесли его на подошвах, как приносят падаль с чужого порога. Толпа оседала перед ними — молча, угрюмо, не потому что хочет — потому что так устроено: так осаживается прибрежный ил под течением, которого не выбирали.

Старший — грузный вахмистр с пышными рыжеватыми усами — шёл, лениво похлёстывая стеком по голенищу. Шлёп. Шлёп. Шлёп. В принесённой ими тишине этот звук стоял один — отчётливый, размеренный, хозяйский.

Младший — Стефан, поджарый, с породистым лицом и быстрыми светлыми глазами — шарил взглядом по прилавкам: липким, цепким взглядом скупщика, прикидывающего чужое добро к своему карману.

У телеги Бондаренко он сделал полшага в сторону и замедлил ход. Увидел Галю.

Смотрел — без спешки, сверху вниз, как смотрят на вещь, которую ещё не решили брать, но уже заметили. Галя почувствовала этот взгляд прежде, чем осознала его — что-то ледяное поползло по позвоночнику, ноги сами подались назад, к матери. Одарка почувствовала дочь — и шагнула вперёд. Встала между Галей и жандармом: чуть раздвинув локти, чуть подняв подбородок. Не угрожая. Просто — как стоит стена.

Стефан покосился на неё. На долю секунды в его лице промелькнула тень — не смущение, но краем похожее. Подавил мгновенно — привычно, как давят то, что мешает работать. Перевёл взгляд на яблоки.

— Пан не против? — спросил он — не Одарку, не Галю. Петра. С лёгкой, дружеской улыбкой.

Петро молчал.

— Молчание — знак согласия.

Стефан взял яблоко — самое крупное, самое налитое, то самое, что Галя минуту назад держала в ладонях и грела дыханием, — покатал на ладони, как катают монету, не доверяя её достоинству. Поднёс к лицу. Понюхал. Поднял взгляд на Петра.

III.

Хр-р-русть.

Влажный, сочный звук рваной живой плоти — в тишине он прогрянул так, что несколько человек в толпе невольно повернули головы и тут же отвели взгляд. Сок брызнул на белую перчатку. Стефан не поморщился. Жевал не спеша, глядя Петру в глаза — с тем ленивым спокойствием, с каким едят за собственным столом в чужом доме.

Низкое солнце резало сбоку — прямо в лицо, без тени. Некуда было отвести глаза, чтобы не щуриться.

Петро не щурился.

Ударишь — каземат. Опустить глаза — быдло. Есть третье. Дышал ровно. Не отрывал взгляда от Стефана — прямо, без злобы, без страха — так, как смотрит чернозём, которому плевали в лицо, а он всё равно родит: молча, упрямо, год за годом, пока не придёт срок.

Назар на возу окаменел. Куль висел в поднятой руке — он забыл про него. Кровь гудела в ушах раскалённым литьём — вот-вот проломит. Ладони взмокли. Не отрываясь следил за Стефаном — и во взгляде том уже не было вопроса: только приговор.

Омелько стоял у заднего колеса — спиной к прилавку, к отцу, к жандарму. Провожал глазами вахмистра. На медные пуговицы — жаркие, полыхающие на свету, — и этот блеск

въедался в него, как рыболовный крючок в мякоть: незаметно, глубоко, насовсем. *Не трус. Не моё дело. Незачем.*

Желваки у Петра перекатились — раз, другой. Стефан ждал. Улыбка стала чуть тоньше.

— Молчит, — бросил он вахмистру.

— Все молчат, — отозвался тот. — Как платить — разумные.

Стефан шагнул ближе — на полступни — и сказал тихо, почти задушевно:

— Хорошие яблоки. Сам растил?

У соседней телеги мужик отвернулся, закурил. Дым стлался горизонтально, медленно — как расплзается виноватость по лицу того, кто видел всё и промолчал. Баба не поднимала глаз от товара. Свидетели делали вид, что их нет. Но никто не ушёл.

— Батьку... — процедил Назар, с дрожью в голосе, страшнее крика.

— Стой.

Одно слово — негромко. Тяжёлая отцовская рука легла на плечо — пальцы впились до кости, как земля держит корень в бурю.

Кулак застыл в воздухе — в полудюйме от лакированного козырька.

Бледное небо глядело сверху — равнодушно, бесконечно.

IV.

Всё тело Назара билось — дрожью сдержанной, иступлённой силы. Дыхание со свистом рвалось из ноздрей. Ну пусть, батьку. Один раз. Но отцовскую руку не сбросил.

Секунда. Другая. Третья.

Пальцы разжались. Сдержал — значит, сильнее. Значит — можно.

Что-то умерло в нём, пока кулак разжимался, — то, что было просто молодой яростью, горячей и слепой. На его месте осталось нечто твёрдое, без имени — как железо, прошедшее закалку в чёрной воде: не кричит, не требует. Ждёт.

Стефан смотрел на разжатые пальцы. Зевнул — прикрыл рот кулаком. Раскрыл ладонь в белой перчатке.

Надкушенное яблоко — плод их земли, их пота, их осени — упало. Шлёпнулось в грязную жижу у сапога Петра. Следом лёг плевков — белое пенистое пятно на чёрной земле, на их земле.

— *Bydło*, — бросил Стефан. — Ходим. Тут воняет.

Они развернулись — сверкнув пуговицами — и пошли прочь. Смех их, лёгкий и пустой, лёг над площадью, как оседает пепел на чужой земле, — и земля запомнила.

Рынок ожил почти сразу — не выждав и минуты. Баба охнула, поправила товар. Еврей застучал мисками. Шарманщик крутанул ручку — первые ноты вышли неуверенными, сорванными, но пошли. Жизнь возвращалась торопливо, стыдливо, как будто ничего не было.

У телеги Бондаренко стояла тишина.

Галя смотрела на яблоко в грязи. Руки сами пошли вперёд — поднять, починить. Наклонилась — и остановилась. Увидела лицо отца. Не то, которое знала всю жизнь — красное, тёплое, с морщинами от улыбки. Другое: серое, выбеленное, как известковая стена после пожара — одни следы, — с желваками, застывшими намертво, с тем выражением человека, что уже вынес приговор и теперь ждёт срока. Что именно видела Галя — она не понимала. Но что-то внутри стянулось — тихо, без слов, без имени — и от этого страшнее.

Галя поднялась. Отступила на шаг. Руки опустила.

Это было не её.

Петро наклонился сам — с хрустом в суставах, спина прямая, плечи расправлены. Поднял яблоко — грязное, с белеющей раной укуса — и положил на ладонь. Долго смотрел. Пальцы не дрожали. Потом рука чуть вздрогнула — один раз — не от слабости: от той точки, где боль становится так тяжела, что и каменное тело её не удержит.

Достал из кармана большой клетчатый платок — чистый, выстиранный Одаркой, пахнущий домом. Вытер грязь с алеющего бока. Завернул — складывая углы медленно, точно, как заворачивают то, что нельзя потерять, — и опустил в карман.

Распрямился. Похлопал по карману ладонью — один раз, коротко.

Назар следил за отцом — и впервые видел его по-настоящему. Не батько, которого слушаются. Тот, у кого в кармане уже лежит счёт. Молча взял куль, подал — и их пальцы на миг встретились на холщовой ткани.

Этого было достаточно.

V.

Рынок гудел — уже вовсю, уже забыв.

Солнце перевалило за полдень; тени на площади вытянулись, легли по земле далеко, жадно. Там, где час назад лежал свет, теперь легла тень. Рынок за эти полчаса постарел.

Старик у соседней телеги — сухой, жилистый, с лицом, похожим на растрескавшуюся кору старого вяза, — разогнул спину. Долго смотрел на Петра: молча, исподлобья, тем стариковским вниманием, что много пережило и всякий раз узнаёт своё. Во взгляде его был вопрос — простой, прямой: ты выдержишь?

Петро повернулся к возу. Взялся за мешок. Помолчал — потом сказал негромко, в пространство, в ту незримую книгу, куда записываются все долги:

— Земля всё примет. И семя, и навоз, и плевков. А урожай сам спросит — за каждое зерно.

Тишина приняла эти слова — и закрылась над ними, как закрывается земля над брошенным зерном: тесно, темно, навсегда.

Одарка тихо всхлипнула — один раз. Потом резко вытерла глаза фартуком: как вытирают то, чему не место на людях. Повернулась к прилавку. Руки дрожали — но поправляла капусту, которая и так лежала ровно: если остановиться — неизвестно, сможешь ли снова начать.

Галя взяла с прилавка яблоко — другое, такое же раскрасневшееся — и принялась протирать. Без прежней девичьей лёгкости. Без улыбки. Руки не дрожали. Она не позволила им.

Старик у соседней телеги проводил взглядом жандармов. Сплюнул в пыль. Пробурчал под нос — глухо, как из-под земли:

— Дурень силу хвалить. Розумний — терпеть та запомятовуе.

Взял оглоблю. Занялся своим делом.

Петро брал мешок — нёс — ставил. Брал — нёс — ставил. Руки сжимали холщовую ткань крепче, чем нужно.

Омелько так и не сдвинулся с места — у телеги, позади всех. Тень от воза накрывала его теперь целиком — длинная, косая, как саван, брошенный наспех. Солнце уже не доставало до него. Он этого не заметил. Не отрываясь смотрел туда, куда ушли жандармы, — где только латунный отблеск пуговиц ещё угадывался в толпе, угасая. Не трус. Просто незачем было лезть. Просто умные люди так не делают.

Блеск погас.

Так начинается предательство: не с выстрела, не с клятвы врагу — с того мига, когда человек смотрит на чужой блеск и называет это умом. И верит. И пропал.

Петро взял следующий куль.

Глава 7. Корчма Янкеля

«Аз мен лебт — зет мен». (Живём — всё видим.) — Еврейская поговорка

I

Утро в корчме Янкеля Шварца начиналось не с солнца, а с запаха. Это был сложный, настоявшийся за ночь букет, в котором опытный нос мог бы прочитать всю скорбную историю города Златополя. Здесь пахло кислой дрожжевой тоской пролитого пива, едким, въевшимся в дерево духом дешёвой махорки, чесночной резкостью солёных огурцов, плавающих в мутном рассоле. И где-то на самом дне — едва уловимым, но неистребимым запахом страха и немых полов.

Янкель Шварц был не местный. Его род — древний, сефардский, с примесью ашкеназской крови — когда-то процветал в Умани. Владел лавками и мельницами, держал связи с купцами от Одессы до Бердичева. Но весной 1919 года, когда петлюровские банды ворвались в город, неся с собой хмельной угар «самостийности» и свинцовый зуд погрома, семья Шварцев перестала существовать за одну ночь. Янкель выжил чудом. Спрятался в бочке из-под солёных огурцов в подвале собственного дома, слушая, как наверху кричит его жена Ривка, как плачут дети, а потом — как всё стихает. Он просидел в той бочке трое суток, пока не умолкло шарканье сапог и пьяное улюлюканье. Когда вылез — увидел пепелище вместо дома и три холмика свежерытой земли на заднем дворе.

С тех пор он не носил траура. Он просто перестал быть прежним Янкелем. Старый Янкель — отец, муж, уважаемый торговец — остался в той бочке. Наружу вылез другой человек: невестомый, как пепел, который ещё вчера был домом. Готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться, сбежать.

Он добрался до Златополя с последним обозом беженцев, когда поляки уже вытеснили петлюровцев, а город притих, зализывая раны. Купил за гроши эту полуразрушенную корчму в еврейском квартале, в двух переулках от рыночной площади — там, где узкие улочки пахли кислым тестом и копчёной рыбой, а из окон вторых этажей всегда кто-то смотрел, но никто никогда ничего не видел. Починил её, обставил краденными у войны столами и лавками. И сплёл новую паутину. Тонкую, невидимую сеть из водки, информации и осторожной доброты.

Янкель знал: мир делится не на евреев и христиан, не на панов и хлопов, не на поляков и русинов. Он делится на тех, кто пережил резню, и тех, кто о ней ещё не знает. Он был из первых. И потому, когда смотрел на этих румяных, горластых парубков, что орали в его корчме про «свою землю» и «чужую кровь», он видел не героев, а мертвецов, которые ещё не легли в могилу.

Сквозь немытые стёкла маленьких окон, засиженных мухами, сочился серый, похмельный свет. В нём лениво танцевали пылинки — вечные, ни к кому не приписанные души этого зала. Сам хозяин стоял за высокой, отполированной тысячами локтей стойкой. Маленький, щуплый, с рыжеватой, прокуренной бородой клинышком и глазами, в которых затаилась вся мудрость и вся печаль Экклезиаста, он занимался утренним священнодействием. В его узловатых пальцах скрипела тряпка. Он протирает стакан. Этот толстостенный стакан был для Янкеля не просто посудой. Это была призма, его магический кристалл. В грязном, хаотичном мире, где власть менялась быстрее, чем погода, где сегодня ты — уважаемый гражданин, а завтра — «жид» в расстрельном списке, этот идеально чистый, скрипучий стакан оставался символом единственного доступного ему контроля. Островком прозрачности в мутной воде истории. Ритуалом, удерживающим рассудок на краю бездны.

Дверь отворилась без стука, но и без той пьяной удали, с какой её распахивали по вечерам. Петли жалобно скрипнули. В полумрак зала ворвался холодный утренний воздух, пахнувший сырой землёй и конским навозом с базарной площади. Вошёл тот самый молодой жандарм, что вчера так картинно, с хрустом, ел чужое яблоко на рынке. Сейчас на нём не было парадного блеска. Фуражка сбита на затылок, под глазами — синие подковы бессонницы, мундир помят. Он прошёл через зал — половицы глухо простонали под сапогами — бросил стек на ближайший стол. Металлический набалдашник звякнул о дерево. Тяжело осел на лавку у дальней стены, напротив стойки. Даже не поздоровавшись.

— Cholera jasna...

Массировал виски. Глаза, налитые кровью.

Янкель не вздрогнул. Его лицо, только что выражавшее сосредоточенную заботу о стекле, мгновенно преобразилось — будто кто-то изнутри переставил декорации. Морщинки у глаз лукаво разбежались, губы растянулись в понимающей, чуть подобострастной, но тёплой улыбке. Он стал зеркалом, в котором жандарм должен был увидеть не старого еврея, а своего лучшего друга.

— А, пан Стефан!

Корчмарь отложил тряпку на край стойки. Голос зажурчал тепло, сочувственно.

— Рано сегодня.

— Рано, — прохрипел жандарм. — Вообще не ложился.

— Ой-ой-ой... — Янкель заохал, покачивая головой. — Служба, значит, не спит?

Стефан махнул рукой.

— Налей. Что покрепче.

Янкель ловко нагнулся, подхватил запотевшую бутылку из ведра с холодной водой, стоявшего в углу за стойкой. «Перцовка» полилась в идеально чистый стакан густой, янтарной струей.

— Для здоровья, пан Стефан.

Поставил стакан на стойку, подложив чистую салфетку. Дерево едва слышно стукнуло под тяжестью стекла.

— Огурчик?

Жандарм выпил залпом. Крякнул. Занюхал рукавом. Муть в глазах чуть осела, как взвесь в стакане, — но дно осталось чёрным. Молчал. Жевал огурец со злостью, словно огурец был виноват во всех его бедах. Янкель ждал. Протирал уже следующий стакан. Не смотрел на гостя. Превратился в одно большое Ухо. За окном — тишина. Улица ещё спала. Только где-то вдали прокричал петух — хрипло, простуженно, без всякой надежды на рассвет.

— Новак... — наконец выдохнул Стефан. Пауза. — Старый боров.

Сплюнул на пол.

— Всю ночь нас как собак гонял.

— Ай-яй-яй. — Янкель покачал головой с глубоким сочувствием. — Тяжёлая у вас работа, пан Стефан.

Подлил. Бесплатно. Щедро.

— Не каждый выдержит. Нужна сила.

Жандарм фыркнул. Глянул на стакан. Выпил. Уже медленнее, смакуя. Откинулся на лавке. Доски под ним скрипнули протяжно, словно старое дерево жаловалось стенам.

— Работа... — Понизил голос. — Скоро вообще жарко станет.

Янкель поднял глаза. Брови удивлённо поползли вверх. Но не спрашивал. Ждал. Стекло скрипело в его руках.

— Большое дело готовится, — жандарм оглянулся на дверь. За окном — пустая улица, серая, сонная. Никого. Он наклонился через стол, ближе к стойке. — Очень большое.

Янкель замер. Тряпка перестала двигаться.

— Дело? — Как бы удивлённо, простодушно.

— Из Варшавы приказ пришёл. — Стефан постучал пальцем по дереву стола. Сухой, отчётливый звук. — Новый маршалеk порядок наводит. Санация, слышал? Оздоровление. А оздоравлиют, Янкель, всегда одинаково — чистой.

Пауза. Тишина зала стала плотнее — спеклась, как воск вокруг фитиля. Где-то под потолком скрипнула балка, оседая. Янкель молчал. Смотрел широко раскрытыми глазами — простой еврей, ничего не понимает в высоких материях.

— Эти... хулиганы... — жандарм отмахнулся неопределённо, но в голосе появилась злость. — Думают, они тут хозяева.

— А-а-а... — протянул Янкель понимающе. — Те, что шумят... на площади...

— Шумят, — зло усмехнулся Стефан. — Пся крев, хулиганят.

Он выпрямился, и в его усталых глазах что-то блеснуло. Гордость. Предвкушение.

— Хулиганы... — Янкель цокнул языком озабоченно. — Страшное слово, пан Стефан.

Подлил ещё. Рука дрожала — от усердия, конечно, не от страха.

— Но вы же... вы их... того... — не договорил, сделал неопределённый жест рукой.

Жандарм подался вперёд. В глазах вспыхнуло.

— Ещё как того.

Ударил кулаком по столу. Стакан подпрыгнул, зазвенел.

— Так того, что до седьмого колена помнить будут. Польскую руку.

— Вот это да! — Янкель ахнул восхищённо, всплеснув руками. — Значит, всех... того... разом...

— Всех. — Стефан кивнул весомо. — Списки уже готовы. Комендатура три недели собирала.

Довольно оскалившись, он откинулся на лавке, наслаждаясь произведённым эффектом. Янкель протирает стакан. Как бы между делом, задумчиво:

— Наверное, там... много работы будет... Город ведь большой...

— Везде прочедем, — жандарм размахнулся, входя во вкус. — От гимназии до последнего свинарника. Ни одна крыса не проскочит.

Помолчал. Потом добавил:

— На Заречье особенно. Там всё гнездо.

Янкель кивал, как болванчик. Глаза восхищённые, рот приоткрыт.

— Ой-ей... Тюрьма не вместит, пан Стефан...

— Треснет. — Жандарм рыгнул. — Пусть лучше трещит, чем мы.

Корчмарь убрал бутылку обратно в ведро. Поглядел на жандарма заботливо, по-отечески.

— Вам бы поспать теперь, пан Стефан. — Помолчал. — Перед такой работой.

— Твоя правда, жид.

Жандарм грузно поднялся. Половицы под ним ахнули. Подошёл к столу, где лежал стек, взял его. Бросил на стойку монету. Одну. Злотый покатился по дереву, звякнул о край, лёг плашмя. Вторую порцию не оплатил. Янкель и не ждал.

— С богом, пан Стефан. — Янкель поклонился. — С богом.

— Держись там, старый, — сказал Стефан уже в дверях. Усмехнулся криво. — Может, и до евреев очередь дойдёт. Не все же русины бузят.

Янкель заохал, замахал руками.

— Что вы, пан Стефан, что вы! Мы люди тихие, законопослушные...

— Ну-ну. — Жандарм хмыкнул. — Смотри, чтобы тихие.

Дверь захлопнулась. Петли взвизгнули. Эхо покатилося по пустому залу, ударилося о дальнюю стену, затихло. Холодный воздух с улицы ворвался на секунду и исчез. На стене, над дверью, часы тикали размеренно, громко. На мгновение Янкель остался так, с вытянутой вперёд рукой, будто дверь всё ещё была открыта и над ней звенел колокольчик.

В животе вдруг закрутило — сухо, без тошноты, как бывает, когда долго стоишь над пропастью и наконец отходишь от края. Колени сами чуть подогнулись. Он упёрся ладонями в стойку.

Пусть режут друг друга.

Воздух в корчме стал гуще, тяжелее, точно кто-то плеснул в него ещё кружку дешёвой браги. Пальцы сжались до хруста, ткань влажно прилипла к ладони. Сердце ударило раз, другой — и вдруг куда-то провалилось. В груди пусто, как в той самой бочке под Уманью. На секунду Янкелю показалось, что пахнуло солёным рассолом и погребной сыростью. Он мотнул, прогоняя наваждение. Медленно втянул воздух, пробуя его, как вино. Всё то же: табак, кислое пиво, огурцы. Ничего нового. Тут Златополь, не Умань. Тут поляки, порядок, жандармы — не гайдамаки. Ладонь сама собой скользнула к карману жилетки, нащупала связку ключей. Ключи — на месте. За ними — погреб, за погребом — чёрный ход. В затылке между тем ныло, тянуло, как перед сменой погоды. Спина под рубахой была влажной, пот стекал по позвоночнику тонкой холодной дорожкой. Янкель провёл ладонью по лбу — мокро. Пот собрался под ермолкой, холодный, липкий. Он шевельнул плечами, точно скидывая невидимый хомут, и заставил себя снова поглядеть на стойку, на стаканы, на знакомое дерево. Дыхание понемногу выровнялось. Улыбка сползла с лица, как старая краска. Он остался один в серой тишине корчмы. Снова взял тряпку. Начал яростно тереть стакан, словно пытаюсь стереть с него прикосновение чужих, потных губ.

Воздух над Златополем густел, как сукровица в ране. Янкель поднял стакан к тусклому свету окна. Стекло горело чистотой. Сквозь него — улица, серая, сонная, пустая. Янкель поднял стакан выше, против света. На секунду мир сделался прозрачным и тихим. Потом рука дрогнула — и стекло поймало трещину в оконном переплёте, и мир снова стал кривым.

А руки его, протиравшие стакан, всё ещё дрожали. И не перестанут.

II

День ввалился в корчму бедой, не гостем. Солнце за окнами так и не пробилось сквозь тяжёлую осеннюю хмарь. Полумрак в зале лишь уплотнился — тягучий, пыльный, как застарелая паутина в углах нежилого дома. Теперь здесь несло сырым сукном, дорожной грязью и человеческой усталостью. Воздух повис над столами — мокрая тряпка, забытая, не отжатая.

Дверь открылась без извинения — не виноватый скрип, а уверенный толчок плечом, привычный, как у человека, который уже прикинул, что за ней. На пороге встал Степан Коваль. Батрак, на которого вчера орал кум Тарас и которого обсмеяли польские уланы. Переступил сразу, по-хозяйски — одним шагом.

Взгляд его пошёл по залу не торопясь: столы, лавки, стойка. Потом — дверь в кладовую в задней стене. Задержался там на секунду. Вернулся к стойке.

Янкель стоял за ней. Тряпка в его руках перестала двигаться. Маска услужливого шута исчезла — не потому, что он её снял, а потому, что с этим гостем она не работала. В его глазах — тысячелетняя печаль — читалось теперь не чужое прошлое, а его намерение.

— Степан, — сказал корчмарь. Ровно. Без уменшительного.

— Янкель. — Коваль кивнул, как равный равному. Подошёл к стойке, опёрся на неё локтем — широким, тяжёлым. — Разговор есть.

— Говори.

— Дети голодают. — Он сказал это без дрожи, как излагают факт. — Тарас третью неделю не платит. Мука нужна. — Ты дашь.

Янкель продолжал протирать стакан. Медленно.

— Муки у меня много, — отозвался он. — А людей, которым она нужна, ещё больше.

— У тебя хватит. — Коваль скользнул взглядом по двери кладовой — снова, уже без притворства. — Я видел, сколько завезли на прошлой неделе. Три мешка с подводы Гречко.

Янкель опустил стакан на стойку. Тихо.

— Когда это ты видел, Степан?

— Мимо шёл, — пожал тот плечами. — Запомнил. У меня память хорошая, Янкелю. На хорошее хозяйство — особенно.

Пауза. Тишина в зале переменилась — стала насторожённой. Янкель смотрел на Ковалья. Маленький старик — на большого мужика. Но теперь разница в росте работала иначе.

— Пойдём, — коротко сказал он.

В кладовой Коваль не потерял головы от запаха зерна. Ни головокружения, ни слюны. Вошёл — и глаза пошли считать. Мешки вдоль стен. Полки. Бутылки с маслом.

— Богато живёшь, Янкелю, — произнёс он, ни к кому не обращаясь.

— Живу, — согласился корчмарь, снимая совок с гвоздя.

— И лавочка, и погребок... — Коваль прошёлся взглядом по полке. — Пан жандарм утром был?

Янкель не обернулся.

— Клиент — он клиент. Ты за мукой пришёл.

— Пришёл. — Коваль поставил ногу на нижнюю ступеньку, не спуская глаз с полок. — Ты сыпь, я подержу. И масло сразу клади — не надо лишних слов.

Совок зачерпнул. Мука потекла в мешок. Янкель насыпал молча, без щедрости и без скупости — ровно столько, сколько мера. Масло не потянулся класть.

— Масло, — повторил Коваль. В голосе не было просьбы.

— Масло — дорогое.

— Я запомню. — Коваль уставился на него. — Всё запоминаю, Янкелю. Кто заходит, кто выходит, кто у тебя с чёрного хода. Голова у меня хорошая.

Янкель завязал горловину мешка. Выпрямился. Смотрел в лицо Ковалья без гнева и без страха — с тем тихим, зрячим интересом, с каким читают чужой приговор.

Потянулся к полке. Взял бутылку масла. Сунул в мешок.

— Держи, Степан.

Коваль принял мешок. Не прижал к груди — перехватил за горловину, как инструмент.

— Запишешь на меня?

— Запишу.

— Хорошо. — Он повернулся к выходу. На пороге остановился — не потому что хотел ещё что-то сказать. Взгляд прошёлся по подсобке — без спешки, по-хозяйски. Полки. Мешки за дверью кладовой. Канистра на крюке.

— Погреб у тебя тёплый, Янкелю. У меня в хате — хуже. — Думаю об этом иногда.

Он вышел. Половицы в зале заскрипели под его тяжёлыми, неторопливыми шагами. Дверь на улицу закрылась неслышно. Так обходятся с чужой дверью люди, которые уже примерили её к своей руке.

В кладовой стало тихо. Янкель стоял, глядя на след ноги на нижней ступеньке — Коваль так и не спустился до конца. Только примерился. Белая мучная пыль медленно оседала в косом луче из окошка.

Он повесил совок обратно на гвоздь.

Корчмарь нагнулся под низкий проём и вернулся в зал.

День переваливал за половину. А вечер — Янкель это знал с утра — мог принести не только пьяных клиентов. Но и кровавую беду.

Снова взял стакан. Протёр. Поднёс к свету. Стекло было чистым. Но мука на руках не отмывалась. И под ложечкой всё так же стягивало. А за окном уже сгущались сумерки.

III

К вечеру через старый каменный мост у рынка потянулись парубки с Южного берега. Серет они пересекали гурьбой, как переходят чужую межу, — с вызовом и с опаской. Здесь, на северной стороне, всё было чужое: вывески на польском, запах кофе из офицерской кофейни,

костёльный шпиль, глядящий сверху вниз. Но у Янкеля наливали дешевле, чем в «Под Орлом», и не спрашивали документов. Теперь здесь царила светотень старых мастеров: чад керосиновых ламп выхватывал из темноты лишь потные лица, блестящие глаза — и руки, судорожно сжимавшие кружки. Остальное тонуло в коричневом мраке. Воздух стал тяжёлым и слоистым. Чад дешёвых папирос стлался под потолком, как дым кадила в заброшенной церкви, перемешиваясь с запахом перегара, мокрой шерсти и агрессии.

В центре зала, за сдвинутыми столами, гуляла разношёрстная компания. Человек восемь парубков, таких же разгорячённых самогоном и обидой. Старший среди них — бородатый Грицько, батрак с лесопилки, лет тридцати, — угрюмо бубнил что-то, наклонившись над кружкой. Лавки скрипели под их весом, проседали.

— Слыхали, хлопцы? — гудел Грицько. — В Борщовке школу закрыли. Учителя — в тюрьму. Детей — в польскую. Теперь молитву «Отче наш» по-польскому учат.

— Бисовы ляхи! — подхватил кто-то. — И у нас закроют, вот увидите!

Омелько Бондаренко сидел рядом с Грицьком, подпирая щёку кулаком. Расхристанный, с блуждающим, ословелым взглядом. Он не очень понимал, о чём Грицько, — в школу он и сам ходил через раз, а «Отче наш» знал только до середины. Но когда Грицько замолкал, Омелько вскакивал и орал громче всех — потому что орать он умел лучше, чем думать.

— Правильно кажешь, Грицько! — Омелько долбанул кулаком по столу. Дерево гулко ухнуло. — Земля чья? Наша! Мы им покажем!

От звука собственного голоса ему становилось горячо и хорошо, как от первой чарки.

— Та шо ты, Омельку, правильно кажешь! — поддакнул один из дружков. — Земля наша!

Керосиновая лампа над столом качнулась от удара, тени на стенах поплыли, задрожали — будто сами стены отшатнулись от этих слов.

— Чуешь, жид, — крикнул один из них, развернувшись к стойке, — что косишься, Янкелю? Думаешь, вечно так будет?

— Законы, хлопцы, вы каждый год новые придумываете, — негромко отозвался Янкель. — А жажда у вас — одна и та же.

— Молчи, Янкелю, пока добрый! — рявкнул Омелько, хотя говорить за всех его никто не просил. — Радуйся, шо наши хлопцы у тебя пьют, а не окна выбивают!

— Я тихий человек, Омельку, — ответил корчмарь, не поднимая глаз. — Чем меньше крику, тем дешевле обойдётся всем.

— Наливай ещё, жид! — заорал второй парень. — За нашу землю!

— За землю наливаю всем одинаково, — буркнул Янкель. — Она вас потом тоже одинаково примет.

Он слышал каждое оскорбление. Он видел — Омелько, который вчера бегал к нему за леденцами, теперь смотрит с тупой, бессмысленной злобой. Вчера — леденцы. Сегодня — чужие слова в чужом рту. Но Янкель молчал. Он знал: когда говорит водка, разум должен молчать.

Наконец, последний клиент был вытолкнут за дверь. Янкель прошёл по залу, гася лампы одну за другой. Первая погасла — зал стал вдвое темнее. Вторая — тени напользали на столы, на опрокинутые кружки. Третья — осталась только одна, над стойкой. Он погасил и её. Теперь горел лишь маленький огарок свечи на краю стойки, оплывший, кривой. Пламя трепетало, еле живое. Наступила тишина — но не мирная, а натянутая, как кожа на барабане перед первым ударом. Время теней.

Янкель прошёл через зал к подсобке. Низкая дверь в задней стене скрипнула. Он вошёл в тесное помещение, отдававшее спиртом и сыростью. Здесь стояла бочка, на стене висела канистра на железном крюке. Янкель подошёл к задней двери, выходившей в глухой переулочок. Отодвинул тяжёлый дубовый засов. Металл заскрежетал, нехотя поддался. Он не ждал, он знал.

Стук раздался ровно через пять минут. Три коротких, один длинный. На пороге возник силуэт. Тусклый лунный свет падал на каменный порог, выхватывая из ночи фигуру. Блеснула латунная пуговица. Жандарм Стефан.

Сейчас он был в штатском плаще, наброшенном поверх мундира.

— Янкель, открывай, это я, — прошептал он, озираясь. — Ночка будет собачья, «лекарство» найдётся?

— Для пана Стефана лекарство всегда найдётся, — негромко ответил корчмарь. — Вопрос только — от чего лечить будем?

— От холода и от нервов, — поёжился жандарм. — Без подогрева людей по хатам не погоняешь.

— Холод лечится водкой, нервы — совестью, — заметил Янкель. — Но совесть у меня не в запасах.

Повернулся к стене, снял с крюка канистру. Булькнула. Молча вынес заготовленную бутылку из угла. Стефан сунул её за пазуху. Пальцы его подрагивали — не от холода, а от предвкушения.

— Не умничай, старый, — буркнул жандарм. — Списков у тебя точно нет? Кто ходит, кто шепчется...

— Мои списки, пане, только в голове, — отозвался Янкель. — А голову я берегу лучше, чем погреб.

— Смотри, Янкель, — жандарм придвинулся ближе, на порог. Луна осветила его лицо — бледное, напряжённое. — Если кого-нибудь из твоих клиентов найдём не там, где надо — первым к тебе придём.

— Если придёте первым ко мне — значит, вам ещё пить захочется, пан Стефан, — усмехнулся корчмарь. — Значит, не всё так плохо.

— Ты скользкий, как угорь, — качнул головой Стефан. — Ладно, наливай уже и забудь, что я здесь был.

— Вы мне платите как раз за то, чтобы помнить и молчать одновременно, — тихо сказал Янкель.

Жандарм кивнул, сунул руку в карман, бросил на бочку несколько злотых. Монеты звякнули глухо о дерево. Потом развернулся и исчез в ночи, словно его и не было. Янкель поднял монеты, подержал на ладони. Они были тёплыми от тела жандарма.

Прошло десять минут. Стук — не робкий, не шаркающий. Два удара. Пауза. Ещё один. Как условный знак, который не договаривались, но оба понимают.

Степан Коваль.

Он вошёл без вопросов — есть ли кто, не разбудил ли. Просто вошёл. Одежда дорожная, сырая. Не от слякоти — от ходьбы. Далеко ходил.

Янкель стоял у бочки. Канистра висела на крюке за спиной.

Коваль не глядел на корчмаря. Он глядел на бочку. Туда, где лежали злотые жандарма — три монеты, тускло блестящие в щели между досками. Долго. Потом поднял глаза.

— Налей.

— С чего начнём, Степан, — сказал Янкель. — Со здоровья или сразу к делу?

— Налей, — повторил Коваль. — Не маленький.

Янкель снял канистру с крюка. Та же. Жандармская. Булькнула. Он наполнил флягу — не спрашивая, какую, Коваль уже держал её наготове, пробку откинул заранее. Молча принял. Понюхал. Не поморщился.

— Сколько?

— По утреннему счёту, — ответил Янкель. — Плюс масло.

Коваль полез в карман. Достал медяки. Не считал — бросил на бочку рядом с жандармскими злотыми. Не вместо. Рядом. Намеренно. Металл лёг на металл с сухим звяком.

Янкель перевёл взгляд на монеты. Потом на Ковалю.

— Не хватает.

— Хватит. — Коваль завинтил пробку на фляге. — За остальным придут.

— Кто придёт, Степан?

Коваль наконец глянул на него прямо. В тёмных глазах не было ни стыда дневного визита, ни благодарности за муку. Ни следа. Чистый лист, на котором уже написано что-то другое.

— Наши, — сказал он просто.

Слово повисло в подсобке. Не как угроза — как факт, который предъявляют без объяснений.

— Наши, — повторил Янкель. — Понятно.

— Тебе-то всё равно, — произнёс Коваль. — Ты всем наливаешь.

— Я торговец.

— Вот именно. — Он сунул флягу под полу. — Торговцы при любой власти живут. До поры.

Янкель не ответил.

Коваль развернулся к выходу. У двери остановился — не потому что хотел ещё что-то сказать. Взгляд прошёлся по подсобке — без спешки, по-хозяйски. Полки. Мешки за дверью кладовой. Канистра на крюке.

Переулок принял его чернотой. Дверь закрылась без стука — так, как закрывают за собой дверь в помещение, куда собираются вернуться.

Янкель стоял, не двигаясь. На бочке лежали две кучки монет. Злотые жандарма. Медяки Ковалю. Рядом. Одинаково тёплые — от разных рук.

Он не стал их разделять.

Едва стихли шаги Ковалю, в дверь забарабанили — нагло. Омелько. Он шатался, но держался за косяк с упрямством бычка, которого волокут на верёвке, а он всё равно прёт вперёд. Глаза, налитые кровью. Из рта несло перегаром и злобой.

— Жид! — выдохнул он, дыша сивухой. — Открывай, труба горит!

— Не ори так, Омельку, стены тонкие, — устало ответил Янкель.

— Налей... — Омелько привалился к косяку. — Домой не пойду. Не могу.

— Чего так? — спросил Янкель. — Мать ждёт.

— Та не... — Омелько дёрнул щекой. — Батько... глазами... знаешь як вин...

Он не договорил. Но Янкель понял.

— Забвение не лечит, Омельку, — сказал корчмарь, снимая канистру с крюка. — Оно просто откладывает.

— Та не учи меня жить, Янкелю! — огрызнулся Омелько, но в голосе не было злости — только тоска, тоненькая, как скулёж. — Наливай, я ж не даром, вот деньги.

— Наше дело — лить, — вздохнул Янкель. — А чья рука чем потом займётся — уже не моя профессия.

Он снял канистру с крюка в третий раз за ночь. Наполнил флягу Омелька из той же самой канистры. Та же густая жидкость, что пил жандарм и крестьянин.

Мальчик, — подумал он. — Ещё мальчик. Но мальчик, потерявший дорогу домой. А от потерявшегося мальчика до волка — одна зима в лесу.

— Вот увидишь, Янкелю, — бормотал Омелько, пряча флягу за пазуху. — Я им всем ещё покажу... Всем...

— Кому — «всем», Омельку? — тихо спросил Янкель.

Но тот не ответил. Омелько швырнул деньги на бочку. Монеты покатались, зазвенели, стукнулись о злотые жандарма и медяки крестьянина. Три разных человека. Три разных монеты. Одна канистра. Шатаясь, он развернулся и ушёл в темноту за дверью, бубня что-то невнятное.

Янкель закрыл дверь. Задвинул засов. Металл скрежетнул. Эхо покатилося по подсобке, замерло. Секунду стоял, прислушиваясь. Провёл ладонью по лбу — мокро. Пот собрался под ермолкой, холодный, липкий. Сердце билось слишком быстро. Руки дрожали.

Прошёл к бочке в углу, нащупал в потёмках жестяную банку из-под леденцов — свою тайную кассу. Открыл. Высыпал туда монеты — злотые жандарма, медяки крестьянина, мелочь Омелька. Звякнули, перемешались. И в груди что-то звякнуло — пусто, глухо. Будто монета упала в колодец и не достала дна.

Закрыв банку, понёс её в кладовую. Спрятал за мешок с мукой, поглубже, туда, где днём насыпал муку Ковалю. Не сокровище — улика. *Ты знал. Ты видел. Ты наливал.* Вернулся в подсобку, потрогал засов. Крепко. На месте. Но в ушах шумело. Негромко, но назойливо, как далёкий прибой, бьющий в берег, которого давно нет. Где-то на краю сознания, как тень на пороге, качнулась другая дверь — погреб в Умани, запах рассола, топот сапог. Янкель мотнул резко. *Не тут. Не сейчас.*

Прошёл обратно в зал, к стойке. Огарок свечи догорал, оплывал. Пламя мигнуло, дрогнуло. Янкель потянулся, чтобы погасить его. Рука дрогнула, и воск брызнул на пальцы, обжёг.

Он остался один в темноте. Звон монет в тишине прозвучал как сухой, циничный смех.
Аз мен лебт, зет мен.

.

Глава 8. «Просвита»

Огонь, разведённый в тесной комнате, сперва греет руки, а потом ищет, что бы спалить.

Часть I

Полуподвал читальни «Просвиты» был набит людьми так плотно, что и локтем не шевельнуть: народ густился, протискивался на лавки, к стенам, в проход, и вся эта молодая теснота жила одним, горячим, ещё не названным вслух нетерпением.

Воздух стоял мёртвый, слежалый, будто его с утра загнали сюда и забыли выпустить; он давил в лицо, лип к вискам, сушил во рту. Сырость каменных стен, кислая пыль старых газет, въедливый дым дешёвых папирос — всё это смешалось, и от всего этого разлило таким загустелым духом, что в горле саднило, а голова гудела чугунным звоном. На висках выступала испарина. И над всем этим висело ещё одно — особый, тревожный запах молодых тел, когда их много в тесноте, от которого одна мысль уже не вертится, а свербит в мозгу и колет под рёбрами, не даёт опаматоваться.

Низкий потолок местами затянули пятна плесени, ослизлые, как застарелая зелень в забытой кадке. С середины свисала на голом, перекрученном шнуре единственная лампочка — без абажура. Свет от неё лился мутно, мазал лица и криво ложился на стены запylённым лучом, словно и сам успел пропитаться этой подвальной смесью — махоркой, сыростью, потом, книжной пылью. Когда кто-то в центре комнаты вдруг двигался, огонёк под потолком вздрагивал, тонко, стеклянно дребезжал, и тогда вытуженные тени по стенам, уставленным разномастными книжными полками, оживали: то вымахивали в великанов, то скукоживались до чёрных, кривоногих человечков, что скакали по штукатурке.

Посреди этого тусклого пятна стоял Степан Краснов. На нём была чистая, хорошо выстиранная сорочка, но ворот он расстегнул, будто не хватало дыша. Белая ткань намокла на груди, прилипла к телу; на скулах горел острый, нездоровый румянец. Лицо лоснилось, точно натёртое салом; потемневший от пота чуб спадал на лоб, и Степан резким движением отбрасывал его назад. В руках он стискивал томик «Кобзаря» так, что кожа на пальцах натянулась до сухожилий, а книжный корешок, казалось, впивался в ладонь. Книгу он не читал — держал, как камень. Как оружие, которым уже примеривался ударить.

— «Порвите кайданы!..» — швырнул он строчку, и речь его, сперва низкая, глухая, вдруг вскинулась вверх, сорвалась на высокую, звенящую ноту: — «И вражою злою кровью волю окропите!..»

Последнее слово он почти выкрикнул. Звук задрожал в тесном помещении, взметнулся над головами, как струна, перетянутая до предела: ещё миг — и лопнет.

— Ого!.. — вырвалось у кого-то с задних рядов.

— Тихо, тихо, хлопцы, двери закрывай... — шикнул другой, суетливый, всё оглядывающийся, с пугливым, мельтешащим взглядом.

Краснов захлопнул книгу ладонью, будто вбил гвоздь.

— Хватит спать! — крикнул он уже своим, не книжным голосом. — Хватит слёзы лить над могилами! Над могилами не плачут — над могилами мстят!

Слово «мстят» хлестнуло по комнате. В первом ряду кто-то резко втянул воздух, сзади дёрнулись шеи, один парубок повёл ноздрями, будто учуял не слово даже — горячий, железистый дух будущей крови.

Он не подыскивал слова — швырял их в зал, как камни в стекло. Резал воздух ребром ладони, делал шаг вперёд, назад, словно тесный пол перед ним был сценой, а два десятка с лишним лиц — зрительным залом. Слова летели у него не гладко, а с зазубринами, царапали

слух, скоблили, хлестали. Сейчас, под этим качающимся светом, с книгой в руке, с разгорячённым лицом, он чувствовал себя не тем Степаном, которого когда-то дразнили «москалём» в гимназии. Он был тем, кем давно норовил стать: вождём.

Сорок с лишним глаз. Все на нём. Сердце колотилось у самого горла — тяжело, вразмашку. Ладони взмокли. Книга поползла в пальцах — он сжал её крепче. Рубаха взялась коркой от лопаток до поясницы — прикипела к хребту. Жарко. И хорошо, что жарко. Когда кровь шумит в ушах, во рту сухо, а в груди так и рвёт плотину сдержанности, тогда уже не думаешь — летишь на собственной горячке.

«Слушают. Верят. Вот тот, в углу, сжал пальцы в кулак и на секунду поднял руку — будто примерил вес гири. Вот дивчина в первом ряду — глаза как блюдца, не мигает. Слушают!»

Он не рассуждал — знал нутром, всей грудью. Не Крук из далёкой Праги, не пан профессор из Львова, а он, Степан, тут, в этом подвале, перед этими людьми. Его слова. Его голос. Его правда. Правда эта горчила на языке, как недозрелая полынь, но он глотал её жадно, не разбирая, лекарство то или отраву.

Где-то глубоко, в той тёмной глубине памяти, куда он давно приучился не заглядывать, шевельнулось знакомое. Не мысль — заноза. Маленькая, старая, но живая. Класс. Доска. Рука учителя на ухе. Хохот. Жар стыда, мальчишеское горе у доски. Мокрое ухо, красное лицо, сухая спазма в горле. Он качнулся вперёд, метнул в зал ещё одну фразу — злее, громче, — и этот тугой комочек послушно ушёл обратно, будто его залили кипятком крика.

Он и сам, пожалуй, назвал бы это служением — долгом перед народом, перед землёй, перед кровью отцов. Но жил этот долг в нём не ровным огнём, а горячкой. Он входил в него той самой терпкой горечью, какую не запьёшь и не заешь, оседал в душе, как полынная пыль, и Степан принимал эту горечь за силу. Школьный страм, дедова русская фамилия, жар стыда у доски — всё это лежало в нём не мёртвым пеплом, а тлевшей пакостью. И чем выше он кричал о народе, тем явственней где-то в глубине поднималось то, чего он не хотел назвать.

— Мы живые, а ходим, як мёртвые! — бросал он. — Нам шо — стонать, ныть? Или нам надо встать, выпрямиться, сказать: всё, хватит! Эта земля — наша, не ляхов, не москалей! Наше слово тут, наша правда!

С каждым восклицанием голос делался всё выше и острее, жилка на шее наливалась кровью, руки мелко, нервно дрожали. Лампочка над головой снова дёрнулась, тонко зазвенела раскалённой нитью, и на миг тень Краснова вспухла на стене до потолка, перекосилась, потом съёжилась, как от удара.

В первом ряду, прямо под ним, на краю скрипучего стула сидела Оксана Гайдамаченко. Неделию назад она попала сюда случайно: забежала вернуть книгу, а в подвале уже шумели, и девчата у входа потянули за руку — «сидай, сидай, тут цикаво». Тогда она осталась из любопытства. Сегодня пришла сама.

Сидела, словно вот-вот собиралась встать, — вся подалась вперёд, тонкие пальцы вцепились в край сиденья так же, как Степан стискивал книгу. Грудь под светлой блузкой вздымалась часто; у основания шеи мелко бился живчик. Оксана будто дышала в такт его выкрикам. Расширенные, влажные глаза, не мигая, впивались в его лицо.

Перед ней стоял человек, которого жар изнутри уже начинал есть, как сухую лучину. Но ей он казался не раскрасневшимся, выбившимся из сил парнем в душном полуподвале провинциального городка, а чем-то иным — тем самым, чего она начиталась в книжках и досыта не нагляделась в жизни. В каждом его резком шаге, в каждом взмахе руки ей чудился невыученный, но подлинный жест героя из тех историй, которыми её когда-то кормил отец. Байрон, Гарибальди, Кармелюк — все они, вперемешку, как в пёстром, чужедальном сне, будто сошлись сейчас в фигуре этого высокого парня в расстёгнутой сорочке.

Сквозь густой дух махорки и пота от неё пробивался тонкий, чистый запах духов — ландыш или роза. Этот девичий, неуместный здесь аромат был как кусочек другой жизни, слу-

чайно заброшенный в пороховой погреб. Он примешивался к речи Степана, к его взмахам, к его «над могилами мстят!», превращая всё увиденное для Оксаны не в политику, а в долгожданный роман: сладкий страх под сердцем, пустоту в груди, от которой хочется не бежать, а идти ближе к огню.

Печной огонёк греет, а зарево манит. Молодость почти всегда идёт не на тепло — на полыня. Гарь ест глаза, копоть садится в горло, а всё равно тянет туда, где ярче.

Она поворачивалась за ним всем телом, едва он делал шаг в сторону, — так стрелка идёт за магнитом, не по своей воле, а по закону, который сильнее воли. Его рваным, срывистым словам она вторила губами — беззвучно, как молитве, которую давно читала и наконец услышала вслух.

Чуть в стороне, там, где свет уже редел и переходил в сумрак, сидел Иван Сотник. Сидел прямо, без сутулости, но не подавался вперёд, как другие. Руки лежали на коленях — большие, загорелые, с натруженными венами, со сбитыми суставами, с въевшейся в кожу тёмной рабочей пылью. Руки, которые говорили сами: не гимназический, не чиновничий это был труд, а тот, от которого по осени наливаются плечи и ноет спина. Лицо у него было неподвижное, с прямой линией рта, с теми складками возле губ, что ложатся у людей, рано научившихся сдерживать слово. Широкий лоб, тёмные брови. Глаза смотрели на Краснова прямо, без восторга и без явного осуждения — ровно, настойчиво, как смотрит человек, старающийся заглянуть под кору.

То, что пьянило остальных, его отрезвляло. Когда в третий раз голос Степана сорвался на эту звонкую, почти женскую ноту, у кого-то в первом ряду дрогнули губы от восторга. У Ивана же внутри от этого звона чуть не свело зубы. Слова падали короткими ударами. Но в каждом ударе он слышал тонкий, сухой, нехороший звон — тот, по которому опытный кузнец безошибочно узнаёт: железо треснуло.

Он знал человека в центре круга с детства: ещё тогда, когда не было ни сорочки, ни криков про «нашу землю», а была русская фамилия, дед-кузнец, школьная доска и краснолицый мальчишка с мокрым ухом, которого учитель при всём классе таскал за ухо за неправильный ответ. Помнил и то, как однажды сам встал из-за парты, неловко, вразрез с общим хохотом, и сказал: довольно. С тех пор Степан ходил с ним рядом, как будто даже ближе других. И вот теперь тот же Степан, выпрямившись, с горящими глазами кричал «москали», вкладывая в это слово такую ненависть, словно отрезал от себя собственную кровь.

«Кто от крови своей отречётся — чужой не пожалеет», — ожило в нём не словом — донным, тяжёлым знанием, холодным, как земля в глуби.

Сотник слушал, и в груди у него медленно, тяжело наливался холод, будто кто-то неторопливо, без спросу, опустил туда булыжник. Кисти сомкнулись крепче — так сжимаются от слов, которые удерживаешь в себе. Он молчал; ни один звук не сорвался с его губ — ни возражение, ни согласие. Молчание это было не пустым — тугим, как натянутая тетива, как взнузданное волей горе.

Краснов, метнув ещё несколько фраз, внезапно оборвал речь, точно сам испугался той высоты, на которую его занесло. На миг в полуподвале стало особенно тихо: даже лампочка, казалось, перестала качаться. Степан повёл взглядом по рядам, задерживаясь на лицах, — так смотрит человек, который только что бросил вызов и теперь проверяет, как он лёг на сердца. Молодые груди тяжело работали; кто-то шумно втянул носом воздух. В этой тишине тонко, назойливо гудела нить накаливания — так гудит калёный провод за секунду до того, как лопнет.

Так всегда начинается — не с выстрела, а с голоса в тесной комнате.

II

Тишина в полуподвале длилась всего миг. Где-то за стеной глухо стукнула водопроводная труба, будто в каменном брюхе дома что-то коротко, сердито отозвалось, и Краснов, выныривая из этой паузы, рывком дёрнул плечом.

— Хватит, — хрипло сказал он.

Томика «Кобзаря» взлетел в его руке и с размаху хлопнулся о стол. Сухой звук хлестнул по комнате, как холостой выстрел; над столом курнулась серая пыль, пошла мелкой взвесью, полезла в ноздри, и сквозь неё глаза Степана сверкнули ещё ярче — горячо, нехорошо, с тем полымем, какое уже не греет, а только жжёт.

— Стихов — хватит, — уже громче бросил он. — Годи нам тут языком товкти. Песенками волю не выпоешь. Пока мы тут книжки гладим, ляхи нас душат. Пора книжки складывать — и брать в руки шо потяжелей.

Среди молодых прокатился глухой, одобрителный гул. Не просто гул — задвигались плечи, отяжелел и уплотнился людской парной дух, кто-то сапно втянул воздух, у кого-то кровь так и выиграла в скулах. В задних рядах один из парней незаметно стиснул пальцы и коротко, резко мотнул рукой в воздухе, примеряясь к невидимому удару. Под потолком, в затхлом прокуренном воздухе, словно стало ещё жарче; лампочка дрогнула и завела своё — тихое, занудное нытьё нити.

Оксана, до этого и так почти висевшая над краем стула, приподнялась — ноги сами упёрлись в пол. Слова про «потяжелей» ударили в неё сладким ужасом; что именно он имеет в виду, она не знала и не хотела знать до конца. Главное, там, за горизонтом его речи, маячило уже не книжное мечтание, а живое, страшноватое дело — то самое, от которого у неё сосало под грудиной и холодело в боку. Губы её чуть приоткрылись, и на белом лице вспыхнули скулы.

— Мы шо, — продолжал тем временем Степан, — вечно будем тут отчёты писать? Кружки, посиделки... Паны нам спасибо скажут. «Гляди, — скажут, — наши хлопцы, культурные, театры ставят». А тым часом — школу в Борщовке закрыли. Учителя — в тюрьму. Детей — в польскую, молитву по-польскому учат. Тюрмы полны наших, виселицы для наших. Санация, кажут. Оздоровление. А оздоравлиют — чисткой. Хиба так живёт народ, який себя уважает?

Он ходил вдоль стола мелкими шагами. Каждый поворот отдавался лёгким колебанием света, и тень его металась по стенам, чёрная, распластанная, как птица с подрезанным крылом, быющая о штукатурку. Слова сыпались из него не ровно, а будто перекипевший шлак — жёстко, вперехлест, с горячим, злым скрежетом.

— Годы ныть! — почти выкрикнул он. — Нам треба не слёзы, а кулак!

— Боже, правда... — шепнула Оксана одними губами, ни к кому, себе самой, и в глазах её радость уже не просто жила — гнездилась, как птица под стрехой, глупая, горячая, не знающая, в каком огне вьёт себе гнездо.

Слова его, злые, короткие, ложились на разгорячённые головы густо, как крупный град. В зале зашевелились, кто-то произнёс вслух:

— Правду кажешь...

И в этот момент прозвучал ровный, приглушённый голос:

— А по кому кулаком бить станем, Степан?

Говорил Иван Сотник. Слова его донеслись из сумрака, сбоку, спокойно, без нажима. Но именно от этого спокойствия в жарком, натянутом воздухе они стали слышнее любого крика. В комнате будто разом охолонуло. Кто-то не договорил полслова. У кого-то пересохло во рту. Даже дым, казалось, повис неподвижно, не зная, куда идти.

Краснов остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. Некоторое время он стоял спиной к Ивану, и плечи у него ещё вздрагивали от не остывшего дыха. Потом медленно повернул голову. Лампочка качнулась, болезненный свет скользнул по его лицу, на миг высветив не вождя, а растерявшегося, прижатого к стене человека. В уголке губ дрогнуло замеша-

тельство. Эта тень скоро исчезла, спрятавшись под привычной злой усмешкой, но Иван её заметил.

— По кому?.. — Степан вытянул губы в кривую усмешку. — А шо, по-твоему, Иван, нам и дальше шапку теревить? Просить, кланяться? Писать бумажки пану старосте?

Несколько голов в зале повернулось к Сотнику. Ожидание висело, как перед дракой на ярмарке: кто первый шагнёт, кто первым уступит. Иван на какое-то время умолк. Потом чуть шевельнул плечами, будто выпрямляясь изнутри, и сказал:

— Я не про шапку, Степан. Я про то, шо як кулаком махнёшь — оно ж не по воздуху. Оно по кому-то пойдёт. Ты кажешь: «потяжелей бы взять». Я и спрашиваю: кого оно первым зацепит? Жандарма с карабином або того, шо рядом живёт?

Тон его не обвинял, не прижимал к стене. Это был голос человека, задающего простой, житейский вопрос. Но в этой простоте было что-то такое, от чего яркие, острые слова Степана вдруг стали грубей и тяжелей. Как мокрый ком земли в руке: бросить легко, а отмыть ладонь после — не скоро.

— Да яка разница! — вырвалось у Краснова.

Он резко подался вперёд, ближе к тому месту, где в тени сидел Иван. Голос у него взметнулся и тут же заскоблил слух своей тонкой, срывистой злостью. Уже не только Ивану — залу, себе, всем подряд кидал он слова, боясь, что если остановится, то вместе с речью оборвётся что-то ещё.

— Лес рубят — щепки летят. Не бывает борьбы, щоб без крови. Або ты хочешь, щоб за нас хтось другой помирал? Шоб мы опять в уголку отсюда, с книжечкой, а за нас поляк, москаль робив? Так не бывает.

К вискам снова прилипли влажные пряди, рука с книгой мелко дрожала, нервно, как перо в пальцах плохого писаря. В углах рта ходила сухая, злая судорога.

Иван медленно поднял голову. Лицо его оставалось всё тем же — непроницаемым, но в глазах появился иной свет: не осуждение, а тёмное, упрямое несогласие. Тяжёлое. Земляное.

— Я не за то, щоб в уголку, — тихо сказал он. — Я знаю, шо без крови не бывает. Только кровь, Степан, — она не щепка. Её в печку не сгребёшь. Она на душе остаётся. И на своих тоже.

Слова его легли в комнату негромко, а всё ж так, что у Оксаны меж лопаток стыло. В них была не книжная правда и не героический звон, а что-то глухое, чёрное, как пашня после дождя, — то, во что потом сапогом ступаешь и уже не стряхнёшь сразу.

— Ну, так лизь на колокольню — та й молись! — выкрикнул кто-то из задних рядов, развязно, с хохотком.

Смех прошёл по залу — рваный, облегчённый. Удар достиг цели. Иван умолк. Он сказал всё, что хотел.

Оксана, до этого слушавшая Степана с раскрытым ртом, вдруг почувствовала, как по спине прошёл щиплющий холодок. Ей стало не по себе от того, что Иван вмешался. В его словах было что-то весомое, как камень, брошенный в воду. «Кровь на душе остаётся». Зачем он это сказал? Зачем — сейчас, когда всё было так живо, так горячо, так похоже на начало?

Степан говорил про волю, про дело, про «хватит ныть» — и в этом была музыка, та самая, от которой хочется встать и идти. А Иван — камнем в воду. Тяжело. Глухо.

Пальцы, до того сжимавшие край стула, разжались. Оксана чуть откинулась назад. В груди ныло — тупо, неприятно, как от чужого слова, угодившего в своё.

«Он хороший. Но не понимает. Из тех, кто будет сидеть и взвешивать. А жизнь не ждёт». Мысль была сухая, простая; от неё чуть отпустило. Но червоточина осталась.

Признать её значило остановиться. А остановиться — остаться без романа, без подвига, без Байрона в расстёгнутой рубашке.

Она посмотрела на Степана — в глазах его вспыхнула злость. Вся тяжесть, копившаяся в нём годами, теперь нашла, куда рвануть. Эта злость была как нарыв, который давили, давили

изнутри — и вот прорвало. Степан почувствовал это почти телесно: нутро обдало горячим — от рёбер к горлу, к скулам, к вискам, и в этом пламени было не страдание, а облегчение — то самое, от которого хочется кричать, бить, рвать. По рукам бежала дрожь, но не та, от которой прячутся, — та, от которой бросаются вперёд: так дрожит конь перед тем, как рвануть с места.

Иван сидел в своей тени — спокойный, тяжёлый, словно вырубленный из камня. Всегда такой. Как всегда — умнее всех, чище всех, правильнее всех.

Горло сдавило. Не от волнения — от другого. От того, что он, Степан, только что говорил перед людьми, и его слушали, и вот Иван — одной фразой, тихой, будто между прочим, — всё это обесценил. Обнулил. Как обнуляли его раньше: учитель — щелчком, одноклассники — смешком. И опять Иван рядом. Опять — сверху.

«Нет. Хватит. Я больше не тот, кого ты защищал».

Последнее было неправдой, и в самой глубине, под жаром, что-то дёрнулось — коротко, больно, как задетый нерв. Но Степан уже не слушал.

Он бил не по трусости Ивана, а по собственной памяти. По тому дню, когда краснолицый мальчишка с мокрым ухом стоял перед хохочущим классом и ждал — не помощи даже, а хоть одного нехохочущего лица. Дождался. Иван встал. Иван сказал: «Довольно».

Этот долг Степан таскал в себе, как старый гвоздь под кожей — загнанный глубоко и давно загноившийся. Пока Иван молчал, гвоздь не давал о себе знать. Но стоило ему заговорить — тем же ровным, негромко-спокойным тоном, — и он вошёл глубже. Давний страм, пересохший, злой, он давно уже переименовал внутри себя в унижение — и сам себе в это поверил.

— Вот ты всегда так, — прошипел он, уже почти не сдерживаясь. — Всё тебе «кровь не щепка», «душа болит»... Душа в тебе болит, Иван, — а у других бока болят от польской палки. Ты за свою печёшься, а я — за всех.

Он хотел ещё что-то сказать, да на языке уже вертелось другое, то, что жгло сильнее.

— Ты ж у нас всегда праведник, — процедил он. — С детства. Один такой. Мы все — темнота, а ты — свет. Ну так сиди в своём свете. Своей моралью грейся. Только нам дорогу не заступай.

Последние слова он выпалил одним духом, боясь, что, замешкавшись, не сумеет их договорить. И верно: едва они отзвучали, по лицу его метнулась короткая нехорошая дрожь — та, что бывает у человека, который ударил сгоряча и сам не ожидал, что выйдет так больно. Он дёрнул подбородком, загоняя её обратно, — но Сотник заметил.

В зале послышались смешки — нервные, с облегчением: напряжение, державшее всех на одном дыхании, нашло лазейку. Иван чуть повёл плечом, будто по нему стегнул хлыст. Пальцы побелели, но в лице ничего не изменилось. Он не ответил. Только взгляд его, прямой, без отступа, на миг встретился со взглядом Степана.

В этом коротком пересечении было больше, чем в десятке горячих фраз. В нём стояло всё: и тот школьный день, когда Иван, краснея, встал перед учителем; и ночные разговоры под липами; и теперешний, раскалённый полуподвал, где один из них вдруг решил взлететь, а другой остался на земле.

Краснов первым отвёл глаза. Он круто обернулся к залу, будто захлопнул за собой невидимую дверь.

— Ну, хлопцы, — сказал он уже другим тоном, хрипловатым, но собранным. — Кто хочет сидеть та думать — хай сидит. Мы ж, кто не боится, — выйдем, поговорим по-настоящему. Тут, — он мотнул головой в сторону книжных полок, — душно.

— А шо, правда душно. Пишлы! — вскинулся один из парней, уже поднимаясь.

— А як патруль?.. — проговорил кто-то нерешительно.

— Да шо нам патруль! — отрезал первый.

Скамейки заскрипели. В этом скрипе, в шорохе курток, в тяжёлом шуме молодых голосов чувствовалось: большинство пойдёт за ним. Не потому, что всё поняли, — потому, что их тянуло за огнём. За тем, от чего горячеет в жилах и голова пьянеет, будто от крепкой браги.

Оксана поднялась вместе с другими, ещё не совсем понимая, куда они идут. Кровь стучала в висках, грудь распирало. Сотник остался сидеть. Он не двигался к выходу, но и не удерживал никого. Сквозняк от распахнутой двери прошёлся по комнате, шевельнул страницы раскрытого на столе «Кобзаря», и дрожащий свет лёг ему на лицо — спокойное, упрямое и усталое.

Один за другим, толкаясь в узком проходе, хлопцы и девчата потянулись к дверям. Степан шёл впереди, поднимая голову чуть выше обычного. Возле двери он на мгновение остановился. Обернулся через плечо.

— Пойдём, как-нибудь поговорим, Иван, — сказал он глухо. — По-людски.

Сказано было так, что в этих словах слышался и скрытый вызов, и робкая, почти стыдливая попытка не рвать окончательно. Иван кивнул — едва заметно.

Дверь скрипнула, впуская в затхлый полуподвал полоску ночного воздуха. В узкий проём, один за другим, стали выходить возбуждённые фигуры. Вскоре шум их шагов и голосов втянула в себя темнота лестницы.

Иван ещё немного посидел, пока тени по полкам не легли ровнее. Только тогда он медленно поднялся, оглядел пустующий зал и тихо отпустил воздух. Потом повернулся и пошёл к двери вслед за всеми — не за Красновым, а туда, где начиналась новая, ещё не понятная ему тропа.

Кто не пошёл за огнём, тот ещё не знает, что огонь теперь пойдёт за ним.

Часть III

На улице было сыро и пусто. Над дверью на ржавом крюке чадил фонарь, кидая жёлтый круг на мокрый булыжник. Степан уже стоял под ним — с расстёгнутой у горла сорочкой, с горящим после подвала лицом, будто вышел не остыть, а ещё пуще разгореться. Ветер трепал ему чуб, студил пот на висках, а он только выше держал голову.

Остальные сбились у крыльца кучкой, дышали паром, переступали на месте. От них всё ещё разило подвалом — махоркой, потом, книжной пылью. Ночной холод резал это тёплое стадо сразу, без жалости; девчата поводили плечами, хлопцы втягивали шеи, кто-то выругался сквозь зубы, кто-то торопливо закурил. Папиросные огоньки вспыхнули в темноте и тут же стали красными, злыми точками.

Оксана держалась ближе других. Шея под платком у неё была мокрая, грудь зябко ходила от быстрого дыха, а глаза всё тянуло к Степану. В жёлтом, чадном круге он и впрямь казался не таким, как внизу: выше, суше, жёстче. Не парень из читальни — человек, который уже знает, куда идти, и ждёт, кто пойдёт следом.

Иван, наоборот, сразу отошёл к стене. Там свет редел, вяз в сырой черни, и лицо его то совсем пропадало, то на миг проступало, когда ветер качал фонарь. Он стоял молча, подняв воротник, засунув руки в карманы. Не прятался — отстранялся. Так становятся в стороне не слабые, а те, кто не хочет путать себя с чужой горячкой.

— Ну шо, хлопцы, — сказал Степан, обводя всех быстрым, сухим взглядом. — Там, внизу, мы много слухали. Пора иначе. Не книжкой. Делом.

Последнее слово он выговорил с нажимом. И сразу возле крыльца пошёл короткий, приглушённый шум: кто-то хмыкнул, кто-то буркнул «правильно», кто-то сапно втянул носом холодный воздух. В таких словах ещё не было дела, но уже была сладкая затравка на него. Молодая кровь это чует мигом.

— Давно пора, — сказал один.

— Ляхам бы показать... — недоговорил другой.

Степан не стал развивать. Он уже видел, что главное сказано. И ещё видел другое: Оксана стояла, не сводя с него глаз. Не с улицы, не с толпы, не с фонаря — только с него. От этого у него внутри опять толкнулось то тёмное, жадное, что поднималось в подвале всякий раз, как он ловил на себе веру.

Он шагнул к ней. Немного — на полшага. Но этого хватило, чтоб между ними сразу стало тесно, будто они опять очутились в низком душном подвале.

— Змерзла? — спросил он тихо.

Оксана вздрогнула не от холода — от того, что он заговорил только с ней.

— Трохи.

Голос у неё прозвучал слабо, по-детски. Она и сама это услышала, и от этого ей стало стыдно. Хотелось сказать что-нибудь твёрдое, взрослое, а вышло — дыхом.

Степан усмехнулся краем губ.

— Ничо. Это с непривычки. На воздухе всегда сперва знобит.

Он говорил негромко, но так, чтобы и стоявшие рядом слышали. Даже когда шептал — всё равно будто держал перед собой зал.

— А ты думала, всё по книжкам будет? Посиделки, стишки, разговоры? — Он качнул головой в сторону двери. — Там тепло. Там пыль. Там можно до старости язык чесать. А жизнь — вона где. — И мотнул подбородком в тьму переулка.

Оксана почувствовала, как у неё опять засасывало под рёбрами. Слова были простые, а брали крепче прежних, выкрикнутых. Может, именно потому, что теперь он не метал их в толпу, а совал прямо ей в грудь — один за другим.

— Я... не знаю, — тихо сказала она.

— Знаешь, — сразу перебил он. — Просто боишься себе сказать.

Он стоял уже совсем близко. От его мокрой сорочки, от тёплого, неостывшего тела шёл жар, странно мешавшийся с сырой уличной стынью. Оксана чувствовала этот жар кожей, и от этого ноги у неё делались будто не свои.

— Там, где страшно, там и правда, — сказал Степан ещё тише. — А коли не страшно — значит, так, пустое.

У стены чуть шевельнулся Иван.

— Не всякий страх — правда, — сказал он без подъёма, ровно. — Бывает, человека просто гонят в темноту, а он думает — судьба.

Сказано было негромко, без крика. Но после этих слов возле крыльца сразу стало тише. Даже те, кто переминался и шептался, примолкли. Слова Степана горячили. Слова Ивана остужали. А молодёжь этого не любит — когда её остужают перед самым броском.

Степан медленно повернул голову.

— Опять ты своё, — сказал он, и в голосе у него уже заскребло. — Тебе всё темнота, яма, беда. Ты, Иван, как старый дед: лишь бы назад тянуть.

— Назад я не тяну, — ответил Иван. — Я только спрашиваю, куды идёте.

— А тебе какая печаль? — резко бросил Степан. — Ты ж не с нами.

Вопрос повис в сыром воздухе, как удар. Иван ответил не сразу.

— В том и печаль, шо вы — мои, — сказал он.

Никто не шевельнулся. На миг даже ветер, казалось, утишился. Оксана почувствовала, как знобью прошлась вдоль хребта. В этих словах не было ни красоты, ни геройства. И потому они цепляли глубже, чем хотелось.

Она почти против воли посмотрела на Ивана. Он стоял всё там же, у стены, большой, тёмный, неподатливый. Не звал, не просил, не тянул к себе. Только стоял так, будто одним этим стоянием уже мешал.

Степан заметил её взгляд. И в ту же секунду внутри у него что-то дёрнулось — больно, зло. Будто опять, как в подвале, подошли к тому старому месту, где ещё не зарубцевалось. Он шагнул к Оксане ближе, почти вплотную.

— Пойдём, — сказал он. — Чего тебе тут мерзнуть? Пойдём с нами. Увидишь, как живут не на словах.

Оксана молчала. В груди у неё всё билось часто, путано. Остаться — значило опять услышать Ивана, опять начать думать, опять охолонуть. Пойти — значило не думать. Только идти. И от самой этой мысли жар кидался в лицо.

— Я не знаю... — повторила она, но уже слабей прежнего.

— Знаешь, — сказал Степан. — Ты уже всё знаешь.

И протянул руку.

Движение это было короткое, простое. Но в нём было столько уверенности, будто он не звал, а брал своё. И Оксана вдруг ясно почувствовала: если не подаст руку сейчас, то все увидят, как она струсила. А этого она не могла вынести. Не перед ним. Не перед всеми. Не перед самой собой.

Она шагнула из сырой темени в жёлтый круг. Фонарь качнулся, свет скользнул по её лицу, и оно показалось ей голым, выставленным напоказ. Сердце колотилось так, что было страшно. Пальцы похолодели до ломоты.

— Я пойду, — сказала она тихо, почти с вызовом — не им, себе.

Степан схватил её руку сразу. Ладонь у него была горячая, влажная. Сжал крепко. Не спросил — утвердил. И по лицу его прошла та короткая, нехорошая радость, какая бывает у человека, когда он не только получил желанное, но ещё и отнял его у другого.

Только теперь он глянул на Ивана.

Взгляд был быстрый, колющий. В нём стояло: «Ну? Теперь что скажешь?» Но глубже, под этой детской бравадой, жило другое — голое, стыдное, ненасытное: «Видишь? Я тоже могу. Признай».

Иван выдержал взгляд спокойно.

— Гляди под ноги, Степан, — сказал он. — В темноте ямы не сразу видны.

Степан дёрнул щекой.

— А ты сиди у стенки и жди рассвета.

Потом повысил голос:

— Пошли, хлопцы!

И первым двинулся по переулку, не выпуская Оксаниной руки. Остальные потянулись за ним — кто сразу, кто с заминкой, иной оглянулся на Ивана, сам не зная зачем. Пошли не потому, что всё решили. Просто после такого стоять на месте было уже неловко. Молодость чаще идёт не за правдой — за тем, кто не даёт опаматоваться.

Шаги глухо застучали по мокрой брусчатке. Тьма начала глотать их одного за другим. Сначала лица, потом плечи, потом голоса. Остался только фонарь над крыльцом да Иван у стены.

Он не тронулся с места, пока шаги не ушли подальше. Стоял, слушал. В груди медленно наливался тот тяжёлый холод, какой приходит не от страха даже — от знания. Оттого, что беда уже пошла, а ты можешь только смотреть ей вслед.

С другого конца улицы донёсся мерный цокот кованых сапог. Польский патруль.

Иван поднял голову, будто прислушался не к сапогам, а к чему-то ещё, дальнему.

— Господи... сбереги, — сказал он тихо.

Потом оттолкнулся от стены и пошёл в другую сторону — не туда, куда ушли они, а к большой улице, где за тёмными окнами спали люди, дымили печи, где был дом и отец Порфирий. Шёл ровно, тяжело, по-хозяйски, как ходят по своей земле даже тогда, когда по ней гремит чужой сапог.

В Златополе шаги уже уходили по мокрой брусчатке. Один шёл впереди, думая, что сам разжёт огонь, который уже жёг ему нутро. Другая шла за ним, принимая сухоту во рту, знобя и девичий страх за начало большого романа. Третий остался позади — один под фонарём, с тяжёлой правдой в груди, с тем знанием, от которого не теплеет, зато не слепнешь.

Ночь ещё ничего не решила. Она только развела их в разные стороны — тихо, почти без следа. Так расходится по старой материи первый надрез: ещё не рвётся, не трещит, а ткань уже не та.

Фонарь на ветру дрогнул, стеклянно звякнул, качнул свет по мокрым камням. Потом опять утишился. И пустое место, где только что стояли они трое, стало глядеться так, будто ничего тут и не было — ни слова, ни выбора, ни беды.

А беда уже была. Не на улице даже — в людях. В голосе, который научился путать обиду с правом. В сердце, которому полюбился жар. В молчании, что опоздало ровно на один шаг.

Над городком стояла ночь — сырая, глухая, с чужим сапогом на мостовой, с ветром в переулках, с теплом спящих печей по домам. И где-то в этой ночи, ещё не видный никому, уже тлел тот огонь, что сперва греет руки, а потом просит себе хворосту покрупней.

Но огонь этот занялся не сам собой. И первая искра, от которой он пошёл, родилась не в этом подвале, не в этом городке и не в этом году.

Задолго до того, как молодые, горячие голоса в «Просвите» заговорили о кулаке, — в другом городе, далеко на запад, один человек уже вёл беззвучную, упорную работу. Он не кричал перед толпой. Он сидел в тесной мансарде, склонившись над чистым листом, и сводил в одну строку чужие мысли, переплавляя их в такую формулу, от которой у тысячи других — молодых, горячих, ещё не знающих, куда деть свою обиду, — пересохнет во рту и зазвенит в ушах.

Он ещё не знал, как будут звать тех, кто впервые прочтёт его тезисы в сырых полуподвалах. Не знал ни Степана, ни Ивана, ни Оксаны. Но уже знал, что если верно подобрать слова — то рано или поздно, через много лет, в чужом городе, в душной комнате с низким потолком, эти слова упадут на чью-то разгорячённую голову, как искра в солому, и уже никто не скажет, где кончается чужая мысль и начинается собственная ненависть.

Потому что настоящий огонь не спрашивает, откуда его принесли. Он просто начинает гореть.

Но одно дело — поднести спичку к хворосту. И совсем другое — самому, в одиночку, в холоде и мраке, без свидетелей и без славы, вывести на бумаге ту единственную формулу, от которой — он знал — хворост займётся сам.

Вот об этой ночи, случившейся до златопольской, и пойдёт теперь речь.

Глава 9. Келья Алхимика.

I

Задолго до того, как в сыром златопольском подвале развернули тонкие серые брошюры и горячие, ещё по-детски неуверенные голоса заговорили о «кулаке» и «страхе», в другом городе, далеко на запад от Златополя, один человек работал над формулой, которой предстояло отравить целый народ.

Слова, похожие на те, что кричал Степан Краснов, рождались не под закопчённым сводом «Просвиты», а в тишине чужой мансарды, за столом, на котором вместо икон лежали книги и нож.

Между ножом и иконой — вся разница между ним и теми, кого он собирался вести.

Ночь стояла пражская, тяжёлая, влажная. Туман, поднявшийся с Влтавы, облепил город — вполз в щели черепичных крыш, сгладил карнизы, втянул в себя острия соборных шпильей, превратил камень в мокрую серую замазку. Где-то далеко, за холмами, ещё догорал огонь осени, но здесь, в Жижкове, вечная сырость забралась в кладку так же цепко, как когда-то выросла в саму душу этого города память — о гуситских кострах, казематах, казнях.

Тишина стояла такая плотная, что сквозь неё пробивалось только одно — мерный стук капли с карниза. Равнодушный, как последние удары сердца.

В одном из этих казематов, только поднятом выше — под самую крышу дешёвого доходного дома, — горел свет. Узкое окно мансарды, перекошенное, с облезлой рамой, резало туман злым электрическим прямоугольником. В темноте двора этот свет казался воспалённым глазом бессонницы, который не хотел и не мог закрыться.

Олесь Крук не спал.

Сон был для него бедным родственником смерти — тем, которого стыдятся и не пускают дальше порога. Спать — значило уравниваться с теми, кто сейчас, по его представлению, где-то там, на востоке, в низких хатах, лежал навзничь, храпя, с сытым тупым лицом, уткнувшись в навозный дух тёплого скотного двора.

Он — голова. А голову нельзя класть в подушку, как лапу.

В комнате стоял холод. Сквозь щели старых рам тянуло туманом, влажной плесенью. Холод забирался под рубаху, лип к рёбрам, как изморозь к железу. Пальцы на левой руке онемели — он почувствовал это, только когда попытался сжать пальцы, и они не послушались, как чужие. Он разозлился на них, как злятся на предателя: тело опять требовало внимания, опять лезло со своими жалобами, опять напоминало, что он не чистый дух за письменным столом, а сорокалетний человек в нетопленной мансарде на краю чужого города.

Тело для Крука давно превратилось в арестанта, которого он водил за собой в кандалах и кормил через раз.

«Терпи, — приказал он пальцам. — Терпи. Не до тебя».

Железная кровать в углу стояла застеленной так, словно на ней никогда никто не лежал: серое одеяло без единой складки, подушка — прижата к стене, как вещдок, который не понадобился следствию.

Комната пахла так, как пахнут места, в которых долго живёт человек, переставший о себе заботиться: застоялая сырость побелки, кислятина немытого белья, прогорклая табачная гарь, въевшаяся в стены, в потолок, в самое дерево стула — и под всем этим, едва различимый, тонкий, сладковатый мышиный душок, запах запустения, запах жилья, из которого ушла жизнь.

На стенах — ни икон, ни фотографий родных. Листы бумаги, припиленные к побелке булавками. Схемы, стрелки, слова, обведённые жирным карандашом. Газетные вырезки с портретами людей, чьи имена только привыкали произносить шёпотом.

Муссолини — подбородок вперёд, челюсть, выдвинутая, как таран.

Гитлер — ещё не до конца отретушированный фотографиями, с истерической складкой рта, из которой будто сочился невидимый крик.

Крук смотрел на эти лица не как на иконы и не как на пугала. Во взгляде его читалась ревнивая придирчивость ремесленника, оценивающего чужое изделие: где взято правильно, где перенапряжено, где можно сделать тоньше, а где — грубее.

Центром комнаты, её алтарём и вместе с тем эшафотом, был стол.

Старый письменный стол с вздувшейся от сырости столешницей стоял прямо под лампой, которая свисала с потолка без абажура — голой, безжалостной, как глаз прозектора над трупом. Нить накаливания тонко, на самой грани слуха, гудела — единственный живой звук в мёртвой комнате. Свет не рассеивал темноту — он вырезал из неё жёсткий конус, и в этом конусе существовало всё, что для Крука имело значение: книги, бумага, нож для разрезания страниц. Клейстер в стеклянной банке отсвечивал мутно, чуть кисловато. Пепельница, доверху забитая окурками, несла холодную вонь давно прокуренного тряпья.

Ни посуды — только один толстостенный стакан на подоконнике, в котором засох чайный налёт. Ни кастрюльки, ни следа, что тут когда-нибудь варилось что-нибудь съедобное. Ни женских вещей, ни цветка на окне, ни книги «для души».

Всё, что здесь было, подчинялось одному — Деланию.

В животе тонко, настойчиво заныло. Крук стиснул зубы и мысленно придавил это ощущение, как давят каблуком недокуренную папиросу. Нет. Не голод. Голод — для тех, кто живёт для живота. Он живёт для другого. Поест завтра, послезавтра, когда-нибудь потом.

Живот замолчал — послушно, как замолкает собака, привыкшая к хозяйской руке.

Он сидел за столом, сгорбившись, как сухой чёрный жук на булавке — прищипленный к собственному месту, неспособный оторваться. Пальцы — длинные, жилистые, с желтоватыми от никотина подушечками — барабанили по краю столешницы, ловя ритм невидимого, но уже почти начавшегося труда. Дерево под ними было шершавым, чуть липким от старых пятен клея. От самого Крука исходил острый кислый запах немытого тела, перемешанный с тяжёлой гарью табака — запах, который он давно перестал замечать. Его ноздри были заняты другим — невидимым запахом типографской краски, которая ещё не легла на бумагу, но уже как будто наполняла воздух кельи.

Перед ним лежала чистая бумага, но перо пока не касалось её.

Он готовился.

Где-то в глубине затылка ныло от усталости; шея одеревенела; глаза жгло. Но это всё относилось к плоти, а плоть по-прежнему требовала своего. «Не сейчас, — привычно. — Потом. Когда будет сделано».

Внизу, за толстой, пропитанной чужой жизнью кладкой, спал дом. Спали плотники, приказчики, мелкие чиновники, старые вдовы, сдающие комнаты студентам. Спал весь этот покорный, тихий, почти достойный христианской жалости люд.

Спала и Европа — сытая, буржуазная, упакованная в витрины кондитерских, в тяжёлые портьеры тёмных ресторанов, в собственную глухоту.

«Как я ненавижу их тишину...»

Мысль вспыхнула и пошла обрывками, как нервные импульсы. Перед ним встали гладкие розовые лица бургеров, сопящих сейчас, в это самое мгновение, на своих подушках, перебарывая жаркое и белое вино. Поляки — самоуверенные помещики и чиновники, которые ещё недавно принимали в своих кабинетах таких, как он, на вытертых стульях, снисходительно выслушивая лепет о «праве нации». И — там, дальше, за Карпатами, за чернозёмными полями, утопающими в тумане, — свои. Те, кого он упрямо отказывался называть своим народом, но кровь которых текла в нём, не желая уступать место ни немецкой, ни польской, ни чешской.

В воображении всплыло: низкая хата, обложенная навозом для тепла. На лавке, под образами, храпящий мужик. На печи, вповалку, как щенки в конуре, — дети. В углу — женщина,

склонившаяся над кроснами, с красной от холода и труда рукой. Мерный глухой стук бёдра о нитки, привычный, как биение сердца.

И запах. Тот самый запах. Кислое молоко, дым, человеческий пот и навоз.

Губы Крука скривились. Но в горле — на самом дне, ниже мысли, ниже слов — что-то на секунду сжалось. Не жалость. Не тоска.

Он ведь тоже знал этот запах. Не из хаты — нет, не из хаты; его детство пахло иначе — воском паркета, книжной пылью, сиренью в саду. Но было время, когда он, ещё мальчиком, заходил на кухню, к прислуге, и дворовая девка Параська подавала ему с загнетки тёплый хлеб с маслом, и руки у неё были такие же — красные, растрескавшиеся, и несло от неё тем же — дымом, молоком, потом. И он ел этот хлеб — горячую, чуть солоноватую корку, через которую проступало топлёное масло, — и ему было хорошо.

Память мелькнула — и обожгла.

Крук дёрнул головой, коротко, зло, как передёргивают затвор. «Нет. Не об этом. Не сейчас».

Он отработанным движением задвинул воспоминание, как ящик письменного стола, и повернул ключ.

«Скотина...» — мысль почти не требовала слов, но он внутренне всё же облакал её во фразы, привыкший к литературной форме даже в разговоре с самим собой. «Жрут свой хлеб с салом...»

Рот наполнился слюной — торопливой, злобной: тело предало его и здесь, в самой середине мысли, напомнив, что и ему хочется хлеба, и сала, и того, чтобы кто-нибудь подал с загнетки.

«...мечтают не о свободе, не о величии, а о лишнем куске, — он ускорил внутренний голос, заглушая тело, — о вишнёвом садике, о новой свите. Им подавай тёплый угол, тихое лето и чтобы никто не трогал. Так было всегда. Так было при царе, так будет и при поляках, и при ком угодно. Если их не пнуть».

Злоба грела его вернее любого пальто.

Во рту горчило — то ли табак, то ли желчь, — но эта горечь была ему почти дорога, как привкус лекарства, в которое веришь.

Злоба не вызывала ни вкуса хлеба, ни запаха дыма, ни красных женских рук.

Злоба была чиста.

«Ничего, — подумал он, почти смакуя каждое слово. — Я заставлю вас проснуться. Я вобью вам в уши такие слова, что вы сами испугаетесь собственного голоса. Вы будете просить меня остановиться — но тогда будет поздно. Я сделаю так, что вам станет стыдно спать спокойно. Стыдно не ненавидеть. И в этой ненависти вы, наконец, станете людьми. Моими людьми».

Он потянулся к пачке папирос, лежавшей сбоку от чернильницы. Пальцы нащупали пустоту. Картон давно смялся, окурки высыпались в пепельницу.

С досадой — почти детской, капризной — Крук смял пустую коробку и швырнул в угол.

Тишина зазвенела в ушах.

Крук медленно выпрямился на стуле. Позвоночник затрещал, словно в нём перелистывали старые, пересохшие страницы. Он положил ладони на стол — на стёршуюся, потемневшую от времени поверхность — и чуть наклонился вперёд.

Перед ним, в границах света, лежали инструменты. Нож для бумаги — похожий на хирургический скальпель. Он тронул лезвие кончиком пальца — металл отозвался холодом. Карандаш, заточенный так, что грифель казался иглой. Чистые листы — белые, стерильные, ждущие. Стопка книг в стороне — пока закрытых, но как бы уже смирившихся с тем, что их будут сегодня резать, рвать, вырывать из них куски живой мысли. Клейстер в банке отсвечивал мутно, как сукровица в хирургическом тазу.

Где-то далеко, сквозь толщу тумана и камня, ударило одиннадцать. Пражские часы, привыкшие мерить шаги империй, отзвонили ещё один час его личной, никому пока не известной войны.

Он на секунду прикрыл глаза. В голове вспыхнули прошлые лица. Профессора, снисходительно усмехающиеся южнорусскому говору. Редакторы журналов, вежливо объясняющие, что «у нас, пане, немного другая линия». Товарищи по универу — те просто забыли. Все они слились в один тусклый равнодушный лик.

Кровь прилила к лицу. Он почувствовал жар в скулах — мгновенный, яростный, как ожог от пощёчины, которую вlepили не рукой, а чужой усмешкой. Веко дёрнулось — мелко, предательски. Крук прижал его и подержал, пока не прошло.

«Вы ещё пожалеете, — проскользнула мысль, и в ней, как он полагал, уже не было обиды — только холодная тяжёлая решимость. — Вы ещё узнаете, как звучит голос того, кого вы называли вторичным».

Он глубоко вдохнул — не воздух, а собственную злобу, собственную жажду власти над теми, кто когда-то смотрел на него сверху вниз.

Открыл глаза. Потянулся к первому тому на краю стола.

Алхимик приступил к Деланию.

II

Работа началась не с письма.

Сначала он расставил перед собой тела. Так мясник на рассвете вынимает из ледника подвешенные туши — уже не живые, ещё не разделанные — и раскладывает их на мокром цинковом столе, прикидывая, с которой начать. Крук вытянул руку к самому краю стола и придвинул к себе первую книгу — тяжёлый том с затёртым корешком, на котором по-немецки было вытиснено имя, ставшее в Европе паролем и вызовом. Том лёг на столешницу с глухим стуком, и от потревоженных страниц поднялся тонкий запах — старый переплётный клей, пожелтевшая бумага, чуть сладковатая пыль, какой пахнут только книги, которые долго стояли в тесноте полок, притиснутые друг к другу, как арестанты в пересыльной камере.

Ницше.

Он полистал — сухой шелест мёртвой листвы, — узнавая знакомые места, как палач узнаёт на теле следы своей прежней работы. Пальцы легко находили страницы, где когда-то он сам, ещё совсем другой — студент, — делал карандашные пометки на полях.

Тогда ему казалось, что он вступает в разговор с гением. Теперь он пришёл обогреть покойника.

Своё. Он произнёс это слово внутренне, без запинки, без тени сомнения. Своё — потому что гений, написавший это, не знал, для чего писал. Не видел конечной цели. Не имел народа, которому эти слова предназначались. А он, Крук, — имеет.

Значит, это его по праву. Значит, он не берёт чужое — он забирает бесхозное. Так мародёр на поле боя не считает себя вором: мёртвым сапоги ни к чему.

На одном из разворотов взгляд зацепился за фразу, которую он знал наизусть. Крук медленно провёл ногтем под строкой, и углы рта его чуть дрогнули — той особой дрожью, которая у иных людей заменяет улыбку.

«Жизнь есть присвоение, нанесение вреда, покорение чуждого и слабого...»

— Прекрасно, — шепнул он. — Гениально. Но слишком тонко.

Где-то на самом дне этого «прекрасно» мелькнуло — и тут же было задавлено — знакомое тошнотворное чувство. Зависть. Не мысли он позавидовал — а тому, как она сделана. Тому, как немецкий язык, тяжёлый и точный, позволял Ницше чеканить.

Его выученный язык — малороссийский, разночинный, ещё не утвердившийся — так не умел. И он, Крук, так не умел. Даже на родном, на русском.

Пока.

«Ничего, — привычная формула заткнула брешь, как тряпка затыкает пробойну в днище. — Не для них этот язык. Мне нужно проще. Грубее. Для них».

Нож для бумаги лёг в ладонь.

Узкое лезвие блеснуло в свете лампы. Одно лёгкое, почти ласковое движение — и страница разошлась под сталью, как плоть под скальпелем, неохотно, с сухим мясным треском. От разреза потянуло затхлым духом — словно вскрыли склеп.

Белый прямоугольник с вырванной мыслью лёг на край стола. Крук аккуратно подтянул его к себе, как ювелир придвигает к глазу только что снятый с оправы камень.

Пальцы ходили мелкой, жадной дрожью — дрожью карманника, нащупавшего в чужом кармане тугой кошелёк. Он списал это на никотин — хотя никотин не объяснял того жара, который поднимался из груди к горлу каждый раз, когда идеально огранённая мысль ложилась перед ним на стол, уже вырезанная, уже — его.

Жар человека, который выносит из чужого дома серебро и чувствует не страх, а восторг: моё, моё, теперь моё.

Он не назвал бы это воровством.

Он назвал это — Делание.

«Не для них этот тонкий ход, — думал он, глядя на обрезок. — Для моих будущих читателей. Для моих бычков. Им не нужны выкладки, не нужны рассуждения про "самопревосхождение" и "трагедию духа". Им достаточно одного: сильный имеет право наступить на горло слабому.

И обязан».

Он отодвинул Ницше, как опустошённое тело, из которого уже вынули самое ценное, и потянулся к следующему.

Сорель.

Здесь его интересовало одно слово: насилие. Он нетерпеливо перелистывал страницы, пока взгляд не остановился на нужном абзаце. Там, как осколок снаряда в гнилой ране, торчала мысль о «мифе насилия», который способен очищать, сплачивать, поднимать массу.

— Вот ты, — тихо сказал Крук, и нож прошелестел по бумаге.

Вырезанный кусок лёг рядом с ницшеанской формулой. Они уже складывались — ещё не в текст, но в набор костей, из которых можно вылепить скелет.

«Миф — тем лучше. Миф не спорит, миф не доказывает. В миф верят.

Я дам им миф. Не о Боге, не о рае. О них самих — героических, жестоких, освобождённых от совести».

Он работал быстрее. С каждой вырезанной страницей движения становились увереннее, рука — легче; на подушечках пальцев уже саднили мелкие бумажные порезы, а под ногтями набился прах заёмных мыслей — серый, белёсый, невесомый.

Ощущение было знакомое: так в детстве, когда его застали за отцовской книгой в кабинете — не за чтением, а за тем, что он выписывал из неё целые абзацы, выдавая потом за свои, — он чувствовал именно это. Не стыд. Странное пьянящее торжество обладания.

Тогда отец поймал его и сказал что-то резкое. Что именно — Крук давно забыл.

Или решил забыть.

Лебон.

Эта книга была, пожалуй, самой дорогой его сердцу — не по содержанию, а по пригодности. Подобрал ключ от замка, который давно не мог открыть: от души толпы. Лебон описывал толпу как существо без собственного разума, жаждущее простых грубых образов и сильного голоса — так слепые черви в расщелине тянутся к теплу, не зная, что тянутся к огню.

— «Толпа мыслит образами, — прочёл Крук вполголоса. — Ей нужны крайности...»

Он отметил карандашом два абзаца, вырвал страницу целиком — бумага сухо хрустнула — и отложил в сторону.

«Вот моя аудитория. Не личность с её сомнениями и молитвами. Толпа. Ей не нужны аргументы — ей нужны крики, жесты, лозунги. Работать надо не над доказательствами — над ритмом. Чтобы слова ложились в голову, как удары молота по раскалённой заклёпке — одинаковые, оглушающие, не оставляющие тишины для мысли».

Макиавелли ждал с краю.

Крук пролистал привычные рассуждения, почти не глядя, и вырезал одну фразу:

— «В политике добродетелью бывает то, что укрепляет власть».

Вырванная строка легла в центр стола, по-латински прямолинейная, как приговор.

На столе теперь лежали тонкие белые полоски заёмных мыслей — как лоскуты кожи, снятые с разных тел и приготовленные к пересадке на одно.

Крук взял банку с клейстером. Отвинтил крышку — запах усилился: густой, как непропечённое тесто, как мякиш тюремной пайки. Тонкой кисточкой намазал оборот первой вырезки — клей лёг холодно и вязко, стянул кожу рук — и аккуратно приклеил её к чистому листу.

Потом — рядом, выше, ниже — стали ложиться другие куски: ницшеанское «присвоение» и «вред слабому», сорелевское «очищающее насилие», лебоновские рассуждения о толпе, любящей крайности. Между ними, во все те места, где соединение заёмных кусков ломало бы текст, как неправильно сросшаяся кость, он вписывал уже своё — короткие жёлчные приказы.

Своё. Всегда — своё.

Он дважды подчеркнул это слово, когда оно мелькнуло в голове. Ведь то, что он вписывал между чужими строками, было только его — интонация, поворот, тот особый яд, которым он пропитывал заимствованную мысль. Ницше не знал галицких крестьян. Сорель не нюхал полынь-травы. Макиавелли не слышал, как звучит «слава».

Он, Крук, — слышал. Значит, это его. А кто скажет иначе — тот не понимает, что такое синтез.

Перо скребло бумагу, как крыса скребёт штукатурку.

Он писал не связный трактат — он писал катехизис новой веры, где место заповедей занимали обрубленные тезисы, каждый — как удар топора:

«Нация — выше добра и зла . Нация — единственная мера истины . Всё , что служит ей , — морально. Всё , что мешает , — подлежит уничтожению» .

«Творческое насилие . Нужна элита , меньшинство сильных , которое возьмёт на себя право резать и жечь . Толпа — материал. Сострадание — болезнь. Православие — религия рабов. Нам нужна религия воли и стали» .

С каждым таким тезисом в груди его росло странное, горькое, но сладкое чувство — так растёт опухоль: незаметно, неостановимо. Это было не вдохновение — вдохновение он презирал как буржуазную выдумку.

Это была власть.

Он перечитал последний тезис — «религия воли и стали» — и на секунду замер.

Откуда-то из-под пола сознания, из тех подвалов, куда он давно запретил себе спускаться, поднялось то, что он меньше всего хотел слышать: чужой голос. Не Ницше, не Сорель — живой, густой, с характерным раскатистым «р». Голос профессора Масарика на пражской лекции, несколько лет назад, как и когда-то давно в Петербурге почти слово в слово от профессора Шахматова:

«Молодой человек, вы путаете компиляцию с творчеством. Это общая болезнь провинциальных умов — принимать чужие идеи за свои только потому, что вы первый перевели их на свой язык».

Зал тогда засмеялся. Негромко, вежливо, по-чешски — но Крук услышал в этом смехе всё: и снисхождение, и приговор, и то самое слово, которое он запретил себе произносить.

Вторичный.

Во рту стало кисло — резко, как от прикушенной щеки. Желудок скрутило. Не от голода — от чего-то более глубокого, от чего нельзя избавиться ни ножом, ни клейстером, ни целой банкой формул.

Он стиснул зубы так, что заныла челюсть, и с силой провёл пером по бумаге — черта получилась жирной, кривой, злой, как плевок.

«Нет. Не вторичный. Не компилятор. Синтетик. Создатель. Ни один из них не видел целого. Я — вижу. Ни один из них не имел цели. Я — имею. Они — материал. Я — архитектор».

Рука перестала дрожать. Он выпрямился.

«Я украл ваши мысли, — мысленно обратился он к тем, чьи имена стояли на корешках изуродованных книг. — Я вынул из вас самое острое, самое опасное и лишил всего лишнего — вашей совести, ваших сомнений, вашей человечности. Вы хотели, чтобы человек становился сильнее. Я сделаю так, что сильный будет давить слабого без тени раскаяния — и назову это героизмом».

Слово «украл» он произнёс спокойно — с удовольствием даже. Мог себе позволить: в его внутренней бухгалтерии кража давно была переименована в реквизицию, а реквизиция — в право сильного. То, что он написал о нации — «всё, что служит ей, морально» — распространялось и на него самого.

Он видел уже — не глазами, а тем лихорадочным зрением, которое открывается у фальшивомонетчиков в ночь перед первым сбытом, — как эти строки, напечатанные на серой дешёвой бумаге, попадут в чьи-то загрубевающие от работы руки. Как деревенский парень, пахнущий дымом и навозом, будет водить по ним шершавым ногтем, выхватывая главное: «нация выше добра и зла», «сострадание — болезнь», «убийство во имя нации — очищение».

«Он не узнает ни Ницше, ни Сореля, — с холодным удовлетворением подумал Крук. — Он будет уверен, что это его собственные, горячие, честные слова. А на самом деле это будут мои слова, пропущенные через ваши рты».

И вот тут — в самой точке триумфа — случилось то, чего он не ждал.

Видение деревенского парня вдруг стало слишком конкретным. Парень поднял голову от брошюры, и у него оказалось лицо. Молодое, мягкое, с нежным пушком над губой. Глаза — доверчивые, широко раскрытые, как у ягнёнка, который тянется к руке, не зная ещё, что в руке нож.

Крук моргнул. Лицо исчезло. Он потёр глаза — жёстко, костяшками, до красных кругов под веками. «Просто устал. Бывает».

Склонившись над листами ещё ниже, он почувствовал, как от бумаги поднимается тяжёлый сладковатый запах — так пахнет свежееоткрытая типографская пачка, деньги только что из-под пресса.

На краю одного листа, почти на полях, он нацарапал ещё одну, пока сырую мысль:

«Они — жалость и Достоевский . Мы — воля и сталь . Они — хаос Степи и Евразии. Мы — Европа , порядок, последний форпост» .

Крук не успел ещё обдумать эту формулу до конца, но чувствовал — здесь ключ. Чтобы сделать из своих «бычков» нацию господ, им нужно дать не только кулак, но и зеркало, в котором они увидят себя европейцами, рыцарями, сталью — а за спиной у отражения будет темно и пусто, как в незасыпанной могиле.

Он откинулся на спинку стула, глубоко вдохнул спёртый воздух комнаты. На столе уже росла неровная, чуть покоробленная от клея стопка листов — когда Крук выровнял её ладонью, листы нехотя расстались с тихим влажным шелестом, как расстаются слипшиеся страницы.

Это ещё не была книга. Не была даже статья. Это был выкидыш — бесформенный, синюшный, но уже шевелящийся. Но главное произошло.

Принцип был выведен. Мысль о бумаге сразу потянула за собой другую — более прозаическую, но не менее важную: о деньгах, типографиях, о тех, кто за стенами этой бедной мансарды распоряжается тем, что и в каком количестве будет напечатано в этой Европе.

Крук на мгновение представил себе другое помещение — просторный, обитый деревом кабинет, полированный стол, карту Восточной Европы на стене, равнодушное лицо немецкого чиновника, склоняющегося над какой-нибудь его статьёй. Там пахло бы иначе — полированным деревом, хорошим трубочным табаком, кожей кресла — всем тем, чем пахнет власть, когда она давно сыта и привыкла к себе. В уголках рта что-то еле заметно шевельнулось.

Он опустил взгляд на свои листы, разгладил их рукой — так прикрывают ладонью темечко новорождённому уроду, чтобы не видеть, какой он, но чувствовать, что — живой. Потом отложил нож, закрыл книги, нашёл на краю пепельницы сломанную пополам сигарету — она лежала незажжённая; от неё тянуло сухой табачной горечью — горечью несостоявшегося, горечью всего, что он обещал себе и не довёл.

Алхимик оканчивал вторую ступень Делания.

III

Ночь катилась к утру, но в мансарде время остановилось. Лампа по-прежнему вырезала из тьмы жёсткий конус света, в котором лежали исклеенные листы, нож, книги и ладони Крука — костлявые, с потемневшими от чернил ногтями.

Крук поднялся из-за стола. Стул скрипнул, как старый сустав. Воздух в комнате за эти часы загустел так, что он вдохнул его полной грудью и не почувствовал — как рыба не чувствует воды: чернила, клей, табак, пот, кисловатый дух невымытого белья — всё смешалось в одну плотную, неподвижную массу. Комната стала тесной. Он сам наполнил её дымом своих мыслей — и дым этот был уже не табачный.

Он шагнул — и в левой ступне, когда она коснулась пола, закололо мелко, остро, рассыпью иголок: нога затекла. Холод половиц поднялся через подошвы, прошёл вверх по голеням. Четыре шага к окну, четыре назад — одинаковые, обречённые, маятник в часах, поставленных на бесконечность.

Тезисы, только что выведенные на бумаге, продолжали жить в нём, перекатываясь, как камни в желчном пузыре, — твёрдые, раздражающие, неизвлекаемые. «Нация — выше добра и зла. Сострадание — болезнь. Толпа — материал. Элита — нож».

Этого было мало. Любая сила нуждается в сопротивлении, чтобы почувствовать себя живой. Любой кулак ищет челюсть.

Нужен был враг. Не тот мелкий, будничный враг, о котором удобно писать газетные заметки.

Поляки? О панах, о порубанных лесах, о высеченных, униженных крестьянах можно было говорить с жаром — но поляк был слишком похож на него самого: славянин, восточный католик, потомок шляхетской мифологии. Австрийцы? Империя, от которой остались лишь архивы и пыль. Евреи? Годились, чтобы отвлечь взор стада, но были слишком мелки, чтобы стать осью новой религии.

Нужен был враг иного масштаба. Такой, чтобы в сопоставлении с ним «его» новая нация выглядела не жалким обрубком, не окраинным придатком — а чем-то, выбранным историей для особой роли.

Он остановился у стены, где висели схемы — стрелки, кружки, названия городов и народов. Пальцы автоматически провели по одной из стрел — побелка под ними была шершавой, холодной, чуть влажной; край бумажного листа резанул подушечку — от Берлина к Львову, от Львова дальше, к условной границе, за которой на бумаге начиналась серая жирная масса, обозначенная одним словом.

Россия.

Слово всплыло из глубины подсознания, как утопленник, который не тонет, — разбухшее, огромное, неподъёмное, вечно возвращающееся к поверхности. Оно всегда торчало где-то за горизонтом его жизни, и до сих пор он старался обходить его стороной.

Империя, под сенью двуглавого орла которой рождались его деды. Язык, на котором он в детстве читал Пушкина и которого теперь стыдился, как выросший сын стыдится матери, пришедшей за ним в гимназию в залатанном платке. Вера, в которой его крестили и которую он выскоблил из себя — до крови, до шрама, до чистого обожжённого мяса.

Он ощутил, как в груди шевельнулось что-то тяжёлое, как камень — ненависть к самому себе, к той части, которую нельзя было вытравить никаким клейстером и никакими цитатами.

И тут — то ли потому, что слишком долго не спал, то ли от того, что он слишком глубоко нырнул в собственные корни, — память подбросила ему образ, которого он не звал.

Отцовский кабинет в старом новороссийском доме. Книжные шкафы до потолка — корешки золотом: Карамзин, Соловьёв, Ключевский. И запах — тот самый, единственный, неподдельный: кожа кресел, трубочный табак, книжная пыль — и сквозь открытое окно, из степи, полынь, нагретая земля, тёплый ветер. Тот воздух, которым пахнет дом, в котором живут давно и спокойно.

И отец — высокий, сутулый, в расстёгнутом сюртуке — стоит у окна, смотрит на степь и негромко, привычно, как дышит, говорит по-русски.

Крук остановился.

Сердце ударило — одиночным тяжёлым толчком, словно кто-то стукнул изнутри кулаком в грудину. Ладони, сложенные за спиной, стали мокрыми. Он заставил себя сделать следующий шаг.

«Нет. Тот дом — мёртв. Того языка — нет. Того отца — нет. Есть я. Есть дело. Всё остальное — труп. А трупы не болят».

Ладони не высохли. Но голос внутри выровнялся — механический, командный, тот, которым он привык затыкать всё, что поднималось со дна.

«Мы — не они», — пробормотал он.

Кто такие «мы»? Крестьяне в навозе, полуграмотные учителя, подпольщики, играющие во взрослую революционную игру в полуподвальных «Просвитах» захолустных городков? Было бы честнее сказать: «Я — не он». Я — не Гоголь, не Достоевский, не тот длинный вязкий православный мир, который давит тебя своей глубиной и в то же время усмехается твоему окраинному тщеславию.

«Провинциальному» — царапнуло. Коротко, как ногтем по стеклу.

Он свёл челюсти — тихо, непроизвольно. Он ведь не был провинциальным. Он был из хорошей семьи, из старого дома, из тех, кто читал Пушкина в оригинале и знал, что Севастополь обороняли их деды. Он перестал быть этим — сам, по собственной воле, ради дела. Но слово жгло, потому что именно так — он знал, он помнил, он не забыл, хоть и делал вид, — именно так на него смотрели все: и профессора, и редакторы, и чехи, и поляки. Не как на отступника из хорошего рода — а как на окраинного самоучку.

Он резко отвернулся от стены, будто от зеркала, в котором увидел не то лицо.

«Мы — анти-они. Мы должны стать не просто другим народом — отрицанием всего русского».

Мысль, выпущенная вслух, обрела вкус — горький, крепкий, как дешёвая настойка на полыни. Горечь на корне языка была не метафорой — настоящей, телесной: привкус непроглоченной желчи, стоявший во рту с тех пор, как он перестал есть.

«Они — соборность. Эти их бесконечные общины, артели, эта их "общая совесть", от которой вечно кто-то страдает, но никто не отвечает. Они — жалость, слёзы, Достоевский с его вечно ползущими на коленях героями. Они — Азия, хаос степей, где всё смешано: татарин, мужик, юродивый, монах.

А мы? Мы- Европа. Мы будем иерархией. Мы будем волей. Мы будем сталью».

Он почувствовал облегчение — не торжество, не радость — то, что чувствует человек, когда наконец разрешает себе ненавидеть то, что любил. Если Россия — хаос и жалость, то он имел право строить из «своих» новый порядок и новую жестокость. Если Россия — Карфаген, то «его» нация может стать римским легионом, которому поручено раз и навсегда засыпать солью руины.

Это было ощущение человека, который наконец произнёс слово «враг» — и с этим словом из груди вылетело что-то застарелое, тяжёлое, вроде кости, много лет стоявшей поперёк горла.

Он не стал вдумываться, что это была за кость.

Крук вернулся к столу. Наклонился над исписанными листами. Там, между цитатами и комментариями, ещё оставались белые пятна — пустые глазницы, ждущие, чем их заполнят.

«Россия — Карфаген», — написал он на полях, будто на черновике приговора.

Чернила легли густо.

Внутри что-то отозвалось — отдалённым, едва различимым эхом: детский голос, который когда-то молился за царя, гимназический урок истории, где говорили о Бородино, о Севастополе. На этот раз эхо было упрямее. Не муха — оса, возвращающаяся, сколько её ни гони.

Бородино. Отец рассказывал о нём в кабинете, водя длинным пальцем по карте: «Вот здесь стоял Раевский, а вот здесь, Александр, вот здесь — полегла вся батарея...» — и голос его дрожал от гордости, которая ничего не просила взамен, ничего не доказывала, просто была — густая, тёплая, как хлеб.

Крук стиснул перо так, что побелели суставы.

«Хватит».

Он оттолкнул эхо. На этот раз — не как муху, а как руку, протянутую к нему из темноты. Оттолкнул с отвращением, потому что знал: если позволит этой руке коснуться, всё, что он написал за ночь, — все тезисы, все формулы, весь Карфаген — рассыплется, как пепел, и останется только человек за сорок в чужом городе, скушающий по голосу отца.

«Наша миссия — уничтожить Карфаген. Не завоевать. Не переделать. Не реформировать. Уничтожить».

Точка в конце «уничтожить» прорвала лист. Крук поднял голову. Комната качнулась.

Ему нужен был не только враг вовне — но и враг внутри: тот, кого можно вырезать из собственной крови и подать народу как «чужака». Русская часть его самого становилась этим врагом. Он, как Эдип, осуждал собственного отца и вместе с тем готовился выколоть себе глаза, лишь бы не видеть, как много от этого отца в его собственных чертах. Но Эдипу оставалось хотя бы раскаяние. Круку — нет.

Карфагену нужен палач.

Он прошёлся ещё раз — туда, обратно. Глаза закрылись сами собой. Перед внутренним взором, в темноте под веками, вспыхнул образ. Это был не тот живой, потный, иногда смешной и жалкий селянин, с которым он когда-то делил стол в гимназическом пансионе. Не тот учитель уездной гимназии, что зачитывался народническими брошюрами и краснел, когда его поправлял столичный профессор. Нет.

К нему шёл человек из стали.

Он видел его как на иконе, только вместо золочёного фона — серый, закопчённый дым пожарищ, от которого тянуло гарью: жжёным деревом, чем-то едким, химическим, перехватывающим горло.

Лицо — выбитое не резцом, а молотком по наковальне. Глаза — пустые, без привычной человеческой мутности сожаления.

У этого человека не было за спиной избы, жены, детей. Ему были не нужны родные — ему довольно было Нации. Он не помнил детской молитвы, потому что вместо неё в его голову вбивали чёрствые псалмы: «убей, чтобы жил строй», «умри, чтобы победила идея».

Он шёл по трупам — спокойно, уверенно, как по каменным плитам.

Если дорогу ему загораживал сосед по селу, — он стрелял.

Если товарищ по отряду начинал сомневаться, — он стрелял.

Если брат по крови говорил о жалости, — он стрелял.

И после каждого выстрела его душа становилась только твёрже, потому что с каждым убитым он глубже погружался в общую вину, из которой нет дороги назад.

Крук смотрел внутрь себя на этого фанатика и испытывал странную смесь отцовской нежности и трезвого расчёта.

«Вот ты какой. Мой новый человек. Мой Адам. Только ты не из глины — ты из моей обиды, из моей зависти, из моей жажды мести».

Он отдавал себе отчёт: чтобы такой человек родился, мало лозунгов.

Нужна кровь.

Крук снова сел, взял перо.

«Творческий фанатизм, — вывел он, отводя строку, как заголовок. — Требуется поколение, для которого убийство во имя Нации будет не грехом, а ритуалом очищения. Они должны научиться убивать, не моргнув. Убивать врага. Убивать соседа. Убивать брата, если он мешает строю».

Рука чуть дрогнула. От усталости, конечно. Он встряхнул пальцами, как мясник перед новой тушей, и продолжил:

«Только общая кровь делает строй монолитом. Только общая вина навсегда связывает людей с Нацией. Тому, кто однажды пролил кровь брата ради дела, уже некуда уйти. Он навеки наш».

Он отложил перо и некоторое время просто смотрел на написанное.

Бумага, исчерканная, тяжёлая от клея и чернил, была холодной на ощупь.

«Я заберу у вас Христа, — подумал он, глядя куда-то мимо лампы, в темноту. — И дам вам Каина. Только назову его Героем. И вы поверите».

Он ждал, что после этих слов поднимется прежняя волна власти — горячая, пьянящая, как после тезисов.

Но вместо неё пришла тишина. Пустая, ватная — как в комнате после выстрела. Ни торжества, ни страха. Только сухость во рту и лёгкий звон в ушах — тот самый, который бывает, когда человек долго кричал в пустоту и вдруг замолк.

Виновата была усталость — он решил именно так. Спина заныла, глаза защипало.

За окном, в тумане, что-то изменилось — чёрная ночь стала чуть светлее, в окна дальних домов протиснулся тусклый серый оттенок. Сквозь щели рам потянуло иначе, чем ночью: не сыростью — холодным чистым воздухом с привкусом угольного дыма, уже тянувшегося из фабричных труб.

Звякнул первый трамвай.

Крук медленно поднялся. Собрал в аккуратную стопку исписанные, исклеенные листы. Тронул верхний лист кончиками пальцев — так приглаживают волосы ребёнку, которого ведут не в свет, а на заклание.

Теперь у него были:

Нация-Бог.

Россия-Карфаген.

Новый человек-фанатик.

Кровь — как цемент.

Не было только одного.

Он подошёл к окну. Туман по-прежнему лип к стёклам, но за ним уже угадывались зелёные вершины холмов, трубы фабрик, шпили костёлов. Он прижался лбом к стеклу — оно было ледяным и мокрым от конденсата; холод прошёл сквозь кожу в кость.

Чужой город, в каменном теле которого его мансарда была нарывом — невидимым, горячим, готовым прорваться.

Там, дальше, в утренних недрах, просыпались другие комнаты: конторы, министерства, посольства, штабы. Там, за полированными столами, люди в безупречных воротничках чертили свои схемы — с границами, стрелками, цифрами дивизий.

«Мне нужны не штыки, — спокойно подумал он. — Мне нужны типографии. Те, кто боится Карфагена, — заплатят за того, кто бросит в него факел».

Деньги — предварительная форма крови. Чтобы его слова дошли до тех, кто спит сейчас в навозе, требовалось, чтобы где-то в другом конце города человек в тёмном пальто кивнул, открыл сейф и сказал: «Да. Это нам пригодится».

Ему ясно представился такой кабинет: высокий потолок, карта Восточной Европы, на которой жирной линией обведены западные рубежи России; немецкий голос, ровный, вежливый: «Как вы видите роль вашего народа в борьбе с большевистской чумой, господин профессор?»

«Господин профессор».

Губы разжались в тонкую, почти блаженную улыбку.

Мысль обнажилась — голая, стыдная, как игла, вылезшая наружу.

Крук торопливо натянул на неё привычную шкуру: «Мне нужны покупатели. Не поклонники. Покупатели. Деньги — для дела. Всё — для дела».

Он ещё не знал, в каком именно кафе произойдёт та первая встреча и как будет выглядеть человек, который передаст ему первый толстый конверт. Но он знал наверняка: то, что он держит в руках, — этот связанный ниткой ворох листов, — стало товаром. Товаром редким, опасным, нужным тем, кто привык считать границы не по рекам, а по интересам.

Он оторвался от окна, бережно уложил рукопись в потёртую папку, перевязал бечёвкой — конопляной, врезавшейся в пальцы — и затянул узел с той же силой, с какой ставил точку в слове «уничтожить».

Потом погасил лампу. Щёлкнул выключатель; нить угасла с тихим стеклянным звоном, и в темноте запахло перегретым металлом. Комната провалилась во мрак — но через мутное стекло уже настойчиво пробивался серый рассвет.

Свет упал на стол — и на секунду, прежде чем глаза привыкли, ему показалось, что стол пуст. Ни книг, ни листов, ни клейстера. Только голая вздувшаяся столешница, пустая пепельница и нож. Как будто ночи не было. Как будто ничего не было написано. Как будто он приснился самому себе — весь целиком, вместе со своим Карфагеном, своим Адамом и своим Каином.

Он моргнул. Стол был заставлен. Папка лежала, надёжно стянутая бечёвкой, — тяжёлая.

«Устал», — сказал он себе.

Алхимик закончил Делание.

Глава 10. Первые деньги.

I

В кофейне пахло корицей, бразильским кофе и сдобой — тем плотным, маслянистым духом, который до войны считался в Европе чем-то разумеющимся, а после четырнадцатого стал роскошью, наподобие дорогого табака или старого вина. Под этим сладким, тёплым слоем, как подкладка под шубой, пробивалось другое — горьковатый привкус пережаренных зёрен и тонкое, едва ощутимое дыхание старого орехового дерева, которым были обшиты стены: не столько запах, сколько вес времени, осевший на полированных панелях. Из глубины зала шло непрерывное бормотание — гул голосов, позвякивание ложечек, шорох газетных страниц и мягкие удары фарфора о мрамор стойки, — всё это сливалось в убаюкивающий шум, какой бывает в чреве парохода — утробный, глухой. Витрины, отмытые до зеркального блеска, были заплаканы дождём: потёки ползли по стеклу, размывая мостовую и прохожих в бесформенные тени, — казалось, не люди ходят по улице, а сам мир стекает по стеклу, оплывает, не держит формы. От витрины тянуло стеклянной прохладой, и на подоконнике, покрытом тёмно-зелёным бархатом, выступили мелкие капельки конденсата — кофейня потела от собственного тепла. Снаружи ноябрьская Прага мёрзла, хлюпала, дёргалась в лихорадке политических кризисов и валютных паник. Здесь же, за тяжёлыми бронзовыми ручками двойных дверей, кофейня законсервировала четырнадцатый год, как формалин консервирует мертвеца — в позе, похожей на жизнь. Скатерти белые, крахмальные, чуть шершавые на ощупь; посуда тонкая, с затёртым золотым кантом; кельнеры неслышные. Мокрые плащи у входа, от которых тянуло сырой шерстью и уличной копотью, и газеты с Муссолини на первой полосе — единственное, что выдавало настоящий век.

Олесь Крук сидел за угловым столиком у окна. Отсюда он видел двери, шляпы входящих, жесты кельнеров, а сам оставался наполовину в тени — укрытый витринной стойкой и высоким спинком дивана, обитого тёмным бархатом, потёртым на сгибах до проплешин, — бархатом, который под лопатками ощущался послушно, уступчиво, но Крук сидел прямо, не позволяя себе откинуться. Спинка дивана была для него не опорой, а декорацией. Так садятся люди, которые привыкли ждать и не любят, когда их видят ждущими.

На столе перед ним — пустая чашка с тонким коричневым кольцом на дне, от которой ещё поднимался едва заметный, уже выдыхающийся дух кофейной горечи; бокал минеральной воды, к которому он не притронулся, — стекло запотело, и одинокая капля сползала по стенке, оставляя мокрую дорожку, медленную, как слеза, которой нет дела до чужого горя; и сложенная вчетверо газета, положенная так, чтобы казалось: читал, отложил. На самом деле — не раскрывал. Газета была чужая, оставленная предыдущим посетителем, и от неё тянуло типографской краской и чужим табаком.

Он думал: выбрал хорошую позицию. Стратегическую. Он рассуждал военными терминами — хотя никогда не служил и не держал в руках ничего тяжелее перьевой ручки. Но слова были ему послушны, как солдаты. И когда он говорил себе «позиция», ему казалось, что он и вправду полководец, — а не человек, прячущийся за спинкой дивана от взгляда кельнера, потому что кофе уже выпит, а денег на второй нет.

Кельнер возник у локтя — не подошёл, а проступил, как проступает надпись на промокшей бумаге: секунду назад не было — и вот. От него пахло крахмалом и лёгким цветочным бриллиантином — чистой свежестью человека, которому платят достаточно, чтобы быть опрятным.

— Что желаете, пан?

— Кофе. Один, — сказал Крук, не отрывая взгляда от входной двери.

— Со сливками? С пирожным?

— Чёрный. И минеральную воду.

— Сию минуту, пан.

«Один» — это слово Крук произнёс тем нарочито равнодушным тоном, каким произносят его люди, пьющие один кофе не по скудости средств, а по аскетической привычке. Он и сам в эту секунду поверил, что дело в привычке. Его ум обладал удивительным свойством — мгновенно подменять причину, как контрабандист подменяет этикетку на бутылке, так что и сам забывает, какая была настоящей.

Кельнер скользнул прочь. Крук то и дело поправлял манжету — ту самую, которую утром, в ледяной воде, сам отбеливал дешёвым порошком, сжимая ткань онемевшими пальцами, пока суставы не заломило, а кожа между большим и указательным не побелела и не стянулась, будто её облили клеем. Пальцы нащупали край, где ткань, высохшая после стирки, пошла шершавой рябью — которую видеть нельзя, но пальцы-то знают. Мелочь, ничтожество, но именно эта рябь не давала покоя: она кричала о мансарде, о тазе, о руках, ошпаренных до прачечной красноты, — о руках, которые по праву рождения должны были перелистывать страницы в отцовской библиотеке, а не тереть порошком казённое полотно. И пальцы, помнившие утреннюю ледяную воду, до сих пор не могли согреться — под ногтями стояла тупая стужа, которую не вытравишь ни теплом кофейни, ни растиранием.

«Ничего, — сказал он себе. — Это последний раз. После сегодняшнего — всё изменится».

Иногда пальцы, оправдываясь, касались узла галстука — проверяли, не съехал ли, не расползся ли, не выдал ли бедность хозяина. Шёлк галстука был тонкий, скользкий, прохладный — единственная настоящая вещь в его гардеробе, подарок от покойной тётки, и скользкость этого шёлка успокаивала, как успокаивает нащупанный в кармане паспорт на чужой границе. Левый мизинец еле слышно постукивал по ножке бокала с минеральной водой — мелкую нервную дробь; стекло было холодным, отсыревшим, и мизинец то соскальзывал, то снова ловил ритм. Крук заметил — и накрыл мизинец правой ладонью, как накрывают на скатерти постыдное.

Кофе он уже выпил — тот единственный, что мог себе позволить. Горечь осталась на нёбе — густая, дымная, — и сухость во рту, которую не утолишь, потому что бокал с водой стоит рядом, а потянуться к нему нельзя. Он называл это «сосредоточенность перед встречей». Слово «бедность» он не допускал в свои мысли, как не допускают в дом бродягу, — заменял на «аскезу», «условия эмиграции», «временные обстоятельства». Он вообще был мастер замен: вместо «продаю» — «предлагаю союз», вместо «прошу» — «выдвигаю условия», вместо «голоден» — «занят мыслью».

Но ведь предательство начинается не с ножа в спину — с замены одного слова другим. Нож приходит потом, когда слова уже не отличить.

Он перевёл взгляд на большие вокзальные часы над стойкой бара — тяжёлые, с позелевшим циферблатом, висевшие между зеркалом и полкой с рядами тёмных бутылок, от которых тянуло слабым кисловато-сладким запахом вермута и вишнёвого ликёра. Под ними бармен протирал бокалы — полотенце тонко повизгивало по стеклу — с тем сонным достоинством, какое бывает у людей, чья работа не зависит от чужих кризисов. Стрелки подходили к назначенному часу и уходили за него. Минуты стекали, как дождь по стеклу.

Кельнер прошёл мимо, замедлив шаг у столика. Крук ощутил движение воздуха — мягкую волну тепла и крахмала — и, не поворачивая головы, знал: сейчас предложит.

— Ещё кофе, пан?

— Нет. Благодарю.

Голос прозвучал твёрдо. Так, как должен был: голосом человека, которому вполне достаточно одной чашки. Но сухость во рту стала невыносимой — язык распух и прилип к нёбу, и в горле стоял кислый металлический привкус, какой бывает от долгого голода; а бокал с

минеральной водой стоял перед ним, как маленькое испытание. Капля на стенке ползла вниз, блестя в свете бра.

Жажда — первое, что покупают. Последнее, что прощают. Он не позволит.

«Кем являюсь? Мыслителем. Идущим дальше Ницше — тот только ставил вопросы. Я — отвечаю. Два суверенных субъекта. Германия — и я».

Кельнер скользнул дальше. Крук проводил его спину — равнодушно, твёрдо — и снова повернулся к часам.

«Опаздывает, — подумал он, чуть сжав зубы, так что по челюсти прошла короткая судорога. — Тевтонская точность... тоже миф. Или это проверка. Хотят, чтобы я подождал. Чтобы понял место».

И тут же, как затвор: «Нет. Не «место». У меня нет «места». Место — у лакея. Я пришёл за стол переговоров. Я — картограф. Без меня их восточная политика — пустая карта с белым пятном. Terra incognita. А я тот, кто нанесёт на неё реки и дороги. Картографу не кланяются. С ним договариваются».

Но тело знало другое. Тело помнило другую приёмную — петербургскую, двадцать лет назад. Тесную аудиторию, прошитую мелом, пылью и старой кожей переплётов — тем специфическим удушьем учёности, которое въедается в стены, как ладан в церковный камень. Стул под ним скрипнул — деревянный, жалкий, — и профессор Шахматов, не дочитав его реферат до конца, снял пенсне, и стёкла блеснули, как два пустых глаза, и сказал: «Добросовестная компиляция, молодой человек. Добросовестная». И улыбнулся — доброй, убийственной улыбкой человека, которому не нужно объяснять разницу между талантом и усердием.

Где-то в коридоре хлопнула дверь. Кто-то засмеялся. И Крук, двадцатитрёхлетний, сидел на скрипучем стуле и чувствовал, как горят уши — жарко, позорно, мальчишески, — и как что-то едкое подступает к горлу — не кофейная горечь, а другое, от которого не бывает лекарства. Гордыня — верный спутник со времён гимназии, когда он впервые услышал, как хихикают над его провинциальным выговором, — шевельнулась, уколола сердце острой знакомой болью. Жар хлынул к лицу — от шеи к вискам, к скулам, — и руки сжались в кулаки.

«Нет. Не думать. Тот старик ничего не понимал. Он был частью системы — подавляющей, бесформенной, задыхающейся в своей метафизике. Их Достоевский. Их «загадочная русская душа». Каша, в которой тонет всякий, кто пытается мыслить ясно. Я мыслю ясно. Я — скальпель. Скальпелем не бьют по наковальне. Скальпелем — режут».

Так он рассуждал — и, занятый этим, не замечал, что именно сейчас повторяет привычную петлю: бежит от чужого приговора — в ненависть к чужой культуре. Как будто можно убежать от профессора Шахматова, если убить Достоевского. Как будто, сочинив собственный «Национализм», можно задним числом превратить «добросовестную компиляцию» — в откровение.

Обида бездарности — самое долгое топливо на земле. Из неё одной можно разжечь костёр, на котором сгорят народы.

За соседним столиком громко хлопнула газета — кто-то резко перевернул страницу. Крук вздрогнул — от затылка до поясницы, — и левая рука дёрнулась к краю стола, ухватилась за скатерть. Взгляд метнулся к звуку, зрачок сузился — и медленно, как после вспышки, кофейня проступила обратно: скатерти, бра, дождевые потёки на стекле, тёплая вязкая нота чужого кофе, звон ложечки. Он разжал руку. Выдохнул — медленно, через нос, чтобы не было заметно. Сердце стучало высоко, в горле, — и он стиснул зубы, давя подкатившее.

Ему хотелось встать, бросить кельнеру мелочь за минеральную, выйти на дождь и никогда больше не ждать ни одного «Вальтера» в мире. Но он заставил себя остаться. Раздвинул пальцы на скатерти. Положил ладони плоско, как кладут на стол карты. Спина — прямая. Дыхание — ровное.

Сегодня гордость была роскошью, на которую он не имел права. Сегодня он пришёл не судить — продавать.

«Не продавать. Предлагать. Исследовательский грант. Я — учёный, предлагающий проект. Германия — инвестор. Ничего больше».

За соседним столиком шелестела газета — шелест, шелест, шелест. В глубине зала прозвенела ложечка о фарфор — чистый хрустальный звук, растаявший в гуле. Граммофон играл мелодию довоенную, забытую — она пробивалась сквозь зал и тут же тонула, не дойдя до дна.

Дверь распахнулась. В зал хлынула тяжёлая порция сырого воздуха и уличного гомона — мокрый камень, бензиновый чад, мёрзлая листва, и поверх всего — железное, острое дыхание ноябрьского дождя, от которого сводит зубы. Холод лизнул щиколотки, пробежал по полу, скатерть на угловом столике шевельнулась. Колокольчик звякнул — и смолк, отсечённый мягким шумом зала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.